

10335

1961, №2



ქართული  
ლიბრარიონი

2

ЛИТЕРАТУРНАЯ

ГРУЗИЦА

1961

# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

О Р Г А Н  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ

Год издания пятый

## С О Д Е Р Ж А Н И Е

АКАКИЙ БЕЛИАШВИЛИ. Швидкаца. По- весть. Продолжение . . . . .	3
ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ. Из рассказанного луной... Стихи. . . . .	22
СЕРГО КЛДИАШВИЛИ. Приморская вес- на. Рассказ. . . . .	24
ИВАН ТАРБА. Сакартвело. Стихи. . . . .	28
ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ. С высоты пирами- ды. Стихи. . . . .	29
МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ. Стихи. . . . .	32
МИХАИЛ ДЖАВАХИШВИЛИ. Судьба женщины. Роман. Продолжение. . . . .	34

### ВЕЛИКОЕ СЕМИЛЕТИЕ

В. МАРГАНИДЗЕ. Люди и корабли. Очерк .	69
ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ	
Письма Н. К. Крупской и А. В. Луначарского.	73

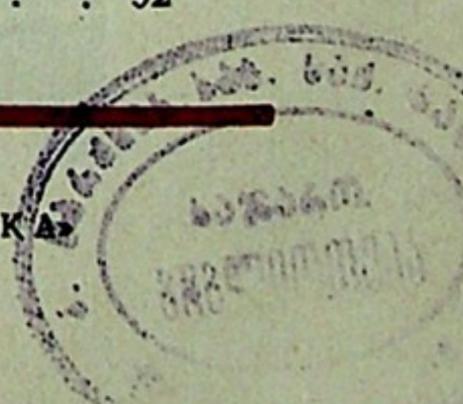
### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. СУРОВЦЕВ. Моя грузинская поэзия. . .	77
ВЛ. МАЧАВАРИАНИ. Повесть о солдатах наших дней. . . . .	87
Б. БАХТАДЗЕ. Очерки о писателях-демо- кратах . . . . .	90

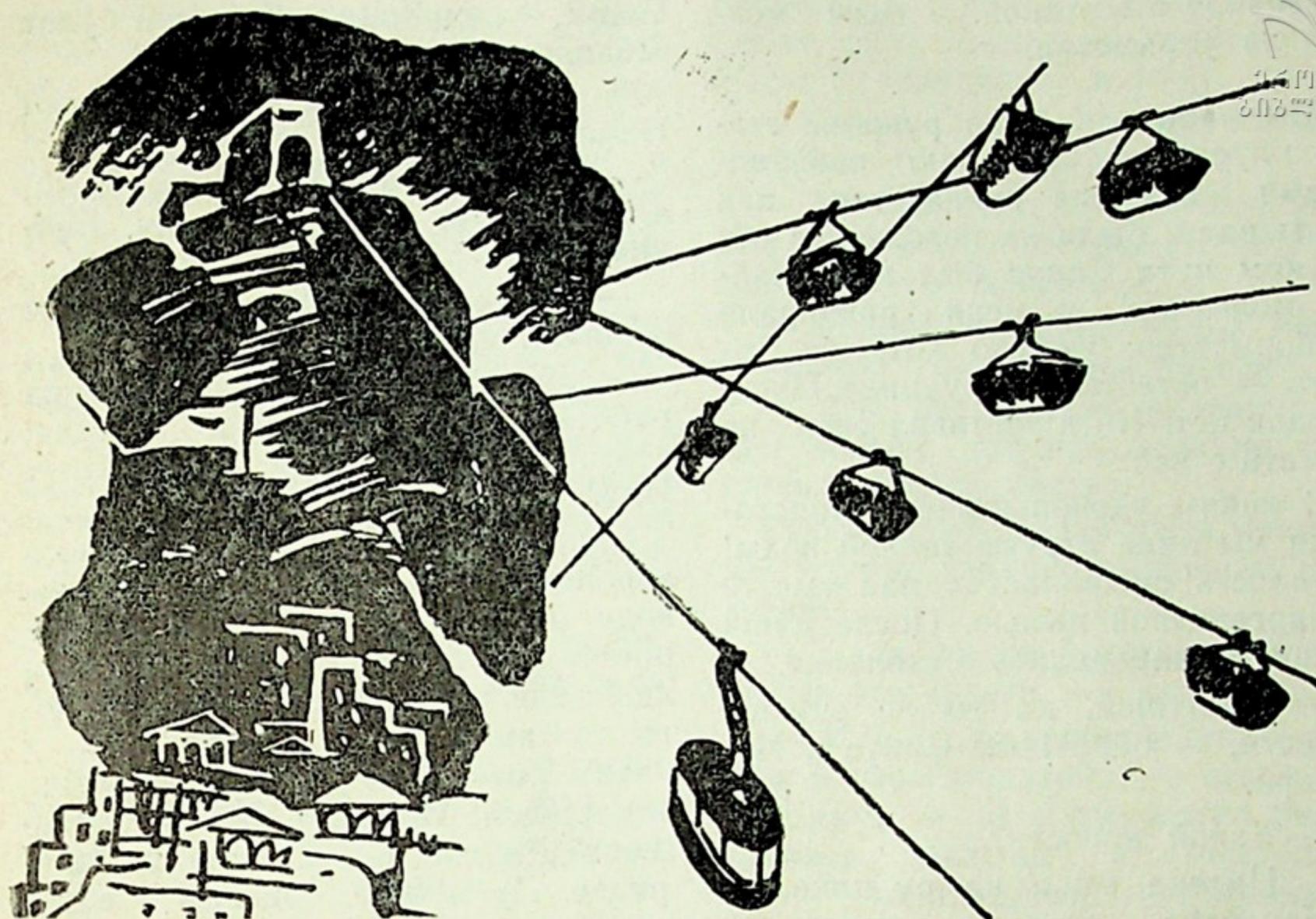
### ИСКУССТВО

Ш. ШАЛУТАШВИЛИ. Режиссер Д. Алек- сидзе. . . . .	92
---	----

2  
ФЕВРАЛЬ  
1961



67006



საქართველოს  
საბავშვო ლიტერატურის  
ცენტრი

*Акакий Белиашвили*

# ШВИДКАЦА

ПОВЕСТЬ

Перевод с грузинского Б. Гасса и Э. Елигулашвили

Продолжение

Рис. Д. Нодия

Мне стало весело. Цисана сверкнула на меня глазами, мол, ничего не вижу смешного, потом призадумалась, словно советовалась о чем-то с собой, и взяла Синуса за локоть.

— Отойдем в сторону, хочу поговорить с тобой.

Они скрылись за поворотом штрека. Не могу сказать, мне ли показалось или и вправду они слишком долго шептались, но когда Синус вернулся, я сердито прикрикнул на него:

— Не время разговаривать, работать надо!

Я рыл яму для опоры. Синус подошел и продолжал работу как

ни в чем не бывало. Назло мне он не проронил ни слова о своем



разговоре с Цисаной. Я тоже молчал из упрямства.

Мы работали, пока руки не стали опускаться. Хорошо еще, вовремя подоспела смена, так как силы наши были на исходе. На обратном пути Синус был необычайно молчалив, а меня разбирало любопытство; ужасно хотелось узнать — остается на руднике Цисана или нет. Но я заставил себя не думать о ней.

С каким удовольствием подставили мы лица струям теплой воды! Усталость смывалась с нас вместе с марганцевой пылью. После душа гуськом направились в столовку.

— Послушай, да ты не знаешь новости, — обратился Синус к Нацевара.

— Какой новости?

— Цисана была на руднике.

Нацевара сделал удивленные глаза. Я не вытерпел и набросился на Синуса:

— Надоел со своей Цисаной. И без нее хватает забот.

— Хоть бы и вправду она была моей, — с сожалением в голосе ответил Синус и принялся, несмотря на мои бурные протесты, рассказывать Нацевара: — Понимаешь, она поступает на рудник. В рабочем поселке живет ее тетя, Цисана пока поселится у нее, на руднике она долго не задержится. Уже обещали перевести ее в контору, а пока будет учиться на заочном.

Я жадно ловил слова Синуса, однако боялся подать вид, что мне интересно, прикидывался безразличным к его рассказу, налегал на борщ.

После обеда я предложил сходить на стадион. Синус и Нацевара отказались наотрез. Оказывается, они уже договорились с девушками пойти в кино.

— Какая сегодня картина? — спросил я.

— Понятия не имею, — ответил

Синус, — главное — со мной будет Додо.

— Пошли с нами, — предложил Нацевара.

— Нет. Вы идете с девушками, а мне как-то неловко одному, лишним буду.

— Вовсе не лишним. Лия тоже обещала прийти.

— Лия? — Я вспомнил, что она работает там же, где и Цисана, поэтому решительно сказал: — Иду.

Одним словом, к нам вернулось хорошее настроение. По этому поводу мы купили бутылку вина, каравай хлеба, кило колбасы, наш любимый имеретинский сыр, немного зелени и решили пригласить к этому роскошному столу старших товарищей: Пармена Торадзе, Эдишера Джохадзе, Лежава и Непаридзе. Идем себе, болтаем и вдруг словно из-под земли вырос Пи-эр-квадрат.

— Где вы пропали, ребята, я все ноги исходил в поисках вас, — радостно говорит он, пожимая каждому руку. Мы, в свою очередь, тоже очень обрадовались встрече. Перебивая друг друга, просто забросали его вопросами. Он дал нам накричаться, а затем рассказал обо всем по порядку.

— В Тбилиси дела наши были неважные. Все мы срезались. Косинусу даже золотая медаль не помогла. Провалился на собеседовании. Но он упрямый, решил славить на общих основаниях. Чудом пролез, буквально на волоске висел, но все же зачислили. Тангенс и Котангенс, наши зубры-математики, еле четверки получили.

— Где они сейчас?

— Не знаю. Так вот, пошатался я по городу недельку-другую, а затем, когда растаяли мои денежки, сел на поезд и приехал сюда.

— Чудесно, будем работать вместе! — воскликнул я.

— А чем вы здесь занимаетесь?

— На руднике, пока стажерами...

— Тоже мне работенка, — прервал меня Пи-эр-квадрат. — Я, было, грешным делом, подумал, что ребята устроились на теплые места и меня пристроят. Нет, уж я лучше на шоферские курсы пойду. Поучусь три месяца, а там знай, крути себе баранку.

— Нечего сказать, предел мечтаний, — с усмешкой сказал я, — небось о вузе и думать перестал.

— Я и без института проживу свой век. Шоферы не хуже других живут. Помните сына Ивлиана, он на такси устроился и уже собственную машину имеет.

— Тебя к легковой и не подпустят, дадут грузовик и трясись по ухабам.

— Умный человек и на грузовике проживет! Как у вас здесь, ребята, насчет ресторана или столовой? Пошли, я угощаю.

Мы смущенно переглянулись.

— А что, правду говорят, и Цирана здесь? — вдруг без всякого перехода спросил Пи-эр-квадрат.

— Да, здесь. А тебе-то что? — резко ответил я, чувствуя, как начинаю злиться.

— Ничего, просто так поинтересовался...

Хитро улыбаясь, он обнял нас за плечи и увлек к маленькому духану на перекрестке дорог. Оказывается, здесь можно было найти все, что душе угодно. Хорошенько подвыпив, Пи-эр-квадрат принялся философствовать:

— Подумать только: жареные цыплята в чесночном соусе, шашлык на вертеле, искристое Цоликаури — не знаю, как вам, а мне большего не надо. Я согласен жить такой жизнью, а вы — как хотите, можете в шахте мозоли наживать.

Потом он подозвал официанта и движением руки приказал посчитать. Мы смущенно принялись шарить в карманах. Но Пи-эр-квадрат

степенно встал между нами и официантом. Он достал пачку сторублевых, смял несколько бумажек и сунул их официанту в руку.

— Откуда у тебя такая бездна денег? — не вытерпел я.

— Не твое дело. Я никого не убивал и грабить — не грабил, остальное тебя не касается.

— Может, валяются где, а мы и не знаем? Научи, будь другом.

— Для вас они не валяются, а для ловких парней, куда ни ступишь, — везде растут.

Простившись с Пи-эр-квадратом, мы втроем, изрядно выпившие, шли домой.

— Вряд ли он честным путем добыл эти деньги, — сказал я.

— Иди ты со своим честным трудом и своей шахтой... — огрызнулся Синус. — Я и ты честно будем хлебать похлебку, а Пи-эр-квадрат — уплетать цыплят. Устраивает это тебя?

— К чему ты это говоришь? Не нравится здесь, беги за спекулянтom и аферистом, кто тебя держит? — заорал я на Синуса.

— Прозвище — не уголь, лица не мажет. Называй, как хочешь, он и спекулянт, и аферист, взяточник, комбинатор, жулик, а он живет в свое удовольствие, ты же лазаешь по штольне, месишь грязь. Нет, братцы, хватит с меня. Ухожу!

— Хоть к черту на кулички, — ругнулся я, — иди, иди. Нам с тобой, видать, не по пути.

— Станешь инженером, — прервал меня Синус, — и будешь получать меньше, чем сейчас. Слышал — начальник смены говорил, что получает тысячу рублей. А мы еще не успели освоиться и уже по тысяче двести вырабатываем. Нет, друзья, избавьте, ни вашего диплома не хочу, ни вашей шахты...

Ночью, как снег на голову, к нам в комнату ввалились Тангенс и Котангенс. Оба рассказывали о сво-

их мытарствах и просили устроить их на работу. Синус побледнел, откинул ногой чемодан, куда начал было собирать свои вещи. Я притворился, будто не заметил его жеста.

— Молодцы, что пришли. А то Синус покидает нас, в бригаде место освобождается.

— С чего ты взял? — запротестовал вдруг Синус.

— Значит, ты не уходишь? — переспросил я как ни в чем не бывало.

— Обожду немножко, — пролепетал он нерешительно.

Незаметно подкралась зима. Приближалась жаркая пора экзаменов. Однако из всех нас, школьных товарищей, только я и Тангенс всерьез готовились к поступлению на заочный. Синус даже думать не хотел о занятиях. Он почти каждый день бегал на свидание со своей девушкой, а если выдавался свободный вечер, то заваливался спать.

— Хватит с меня учебы, и так все мозги в школе засорил, — говорил он, зевая.

Что касается Нацевара, то он и думать позабыл об институте. Окончив курсы механиков, Нацевара целыми днями гонял взад и вперед своего железного коня.

Котангенс твердо решил отработать стаж и сдавать сразу на стационар. Вот и остались вдвоем я да Тангенс. Ночами сидели мы, не поднимая головы, за книгой. Ребята наслаждались отдыхом: кто ходил на свидание, кто на стадион погонять мяч. А мы изнывали над уравнениями и формулами. Ко всему еще Синус донимал нас всякими новостями.

— Вчера Цисану встретил. Знаете, она о вас спрашивала. Интересовалась, придете ли сегодня в клуб на танцы. Что я мог ей ответить? Вы здесь над биномом Нью-

тона бьетесь, а Пи-эр-квадрат обхаживает Цисану. Не будь я Синусом, если он не оставит вас с носом. Да, чуть не забыл. Пи-эр-квадрат отхватил-таки права на вождение машины, — не унимался Синус, — видать, обстряпал дело в инспекции. Хвастался, на самосвал, мол, сажусь. Он тоже собирается в клуб. Говорит, весь вечер с Цисаной буду танцевать. Бросьте, ребята, эту муру, пошли в клуб.

— Чтоб ты провалился, окаянный! — закричал я на него. Синус изобразил на лице удивление и пошел к шкафу. Насвистывая модную песенку, надел новенький шестисотрублевый костюм и решил — в который раз! — сам повязать галстук. Удивительно — никак он не научится завязывать галстук. Наконец Синус махнул рукой, мол, меня Додо и так любит, и помчался на свидание.

Мы снова сели за учебники. Но, как назло, в ту же минуту в комнату на цыпочках вошел Пармен. Он переоделся и, не сказав ни слова, осторожно прикрыл за собой дверь.

Позанимались мы с полчаса, и вдруг Тангенс говорит:

— Ничего не лезет в голову. Уморился. Отдохнем до завтра.

— Как хочешь, — притворился я безразличным, а сам в душе радуюсь. — Ты, может, в клуб хочешь пойти, что ж, иди.

— А ты не пойдешь?

— Что я там потерял, — говорю, а сам боюсь, вдруг этот недотепа и вправду один пойдет. Боюсь сознаться, а то просто страсть, как хочется в клуб.

— Сделай одолжение, одному мне что-то не хочется идти, — уговаривает Тангенс.

Надеваю выходной костюм, подхожу к зеркалу, и — о ужас! Пиджак такой мятый, словно его корова жевала. Еще бы, ведь он все время висел на гвоздике. Вдруг осеняет меня гениальная мысль — попрошу-ка я Пелагею, нашу убор-

шицу, погладить. Не долго думая, взбегаю на верхний этаж.

— Тетя Пелагея, погладьте, пожалуйста, на скорую руку...

— Право, не знаю, сынок, как быть, ведь в жизни не гладила я пиджак, — говорит она с улыбкой.

— Ради всех святых, тетушка, хоть проведите утюгом.

— Чего ты прихорашиваешься, аль влюбить в себя кого вздумал?

— Нет, клянусь вам, нет!

Я неумело оправдываюсь:

— Просто хочу быть опрятным. Терпеть не могу нерях. Разве в девушках все дело, для себя надо чисто одеваться.

— Правильно говоришь, сынок. Будь на тебе даже старая рубаша, и то, если постирана да поглажена, глазу приятно.

Тетя Пелагея так отутюжила воротник, лацканы, рукава, что, право, любой парень мог бы мне позавидовать. Надел я новенький как с иголки пиджак и бросился к двери. Но Пелагея вошла в раж, ни за что не выпускает.

— Куда это ты разопнался? Взгляни на себя в зеркало, видишь, как топырятся брюки в коленях. А ну, снимай!

— Спасительница моя! — кричу ей уже с лестницы. — Сию минуту пришлю их.

Вхожу в нашу комнату и прошу Тангенса:

— Будь другом, снеси мои брюки Пелагее.

Долго жду Тангенса. Наконец он возвращается с перекинутыми через руку отутюженными брюками. Тут только заговорила во мне совесть:

— Тебе тоже не мешало бы привести костюм в надлежащий вид, — говорю Тангенсу.

— Велика важность, — отвечает он, — ты думаешь, Лейла Абашидзе увидит меня с экрана?

В клубе иголке негде упасть. Ребята группами стояли в фойе и

громко разговаривали. Я внимательно осмотрел весь зал и наконец разглядел в толпе Цисану. Окруженная плотным кольцом ребят, она стояла в углу. Среди ее поклонников были Пи-эр-квадрат и Тамаз Келбакиани. Я подчеркнуто хладнокровно направился в другой угол, где заметил Додо Квижинидзе, Лию Квелидзе и Анико Сикинчилашвили. С ними, кажется, был и Синус. Додо то и дело поглядывала на Тамаза, но стоило им встретиться взглядами, как лицо ее залива-ла краска. Я постарался встать так, чтобы оказаться спиной к Цисане, и громко сказал:

— Как жизнь, девочки? Лия, да мы не виделись целый век, — приветливо взял я ее под руку, — где ты пропадаешь, я даже соскучился по тебе.

— Сам ты пропал. Ходят слухи: в затворники записался, — игриво ответила Лия и осмотрела меня с ног до головы. — Ба, какой ты сегодня интересный!

— А ведь, скажи, парень-то и впрямь ничего, — в тон ей ответил я. Синус мрачный стоял рядом и нервно кусал папиросу. Я не мог понять, почему он такой насупленный. Да и все показались мне хмурыми. Одна Лия улыбалась лучистыми глазами, словно знала какой-то секрет, но не хотела разглашать его.

— Бросьте хандрить, девочки, идемте, конфетами вас угощу, — пригласил я всю компанию к киоску.

— Страсть, как выпить хочется, — сказал Синус.

— Ты что, с ума спятил? Скоро концерт начнется.

— Плевать на ваш концерт!

— Певцы из самого Тбилиси приехали.

— Плевать на певцов!

— Скажи, какая муха тебя укусила?

— Поверь, умру, если не пере-  
считаю у кого-нибудь ребра.

Девочки увлеченно шепчутся. Од-  
нако Додо все же краешком уха  
прислушивается к нашему разгово-  
ру. А на обещание Синуса дать ко-  
му-то по морде даже одобрительно  
улыбается.

Мы гурьбой направляемся к ки-  
оску. Продавщица в белом халате  
предлагает нам разные сладости.  
Но Синус не в настроении, придира-  
ется ко всему.

Я стараюсь не смотреть в сторо-  
ну Цисаны. С какой стати я должен  
смотреть на нее? У нас своя компа-  
ния.

Усиленно работая локтями, к нам  
пробирается Нацевара. Он подхо-  
дит прямо к Анико. Какая хорошая  
девушка эта Анико! При виде Наце-  
вара она пригибается, словно хочет  
стать одного с ним роста. Анико и  
Нацевара уже не замечают никого,  
дружески беседуют. Смотришь на  
них, и на душе становится светло.  
Если бы еще Додо не действовала  
на нервы. Взбрело ей в голову стро-  
ить глазки Тамазу. Синус просто  
сам не свой, ревнует, бесится. Эх, не  
будь Додо девочкой, я бы для нау-  
ки надавал ей оплеух. Меня тоже  
начинает злить кокетство Додо.

К счастью, к нам подходит Не-  
паридзе.

— Так вот вы где, — говорит он,  
запыхавшись. — Пармен вас уже  
битый час ждет. Пошли!

— Прицепились, проклятые. Ни-  
где нет от них покоя, — ругается  
Синус. — Впрочем, я ведь гово-  
рил, — у меня давно руки чесались.

— Уж больно ты хорохоришься,  
Синус, — шутливо отвечает Непари-  
дзе, — впрочем, если горишь жела-  
нием помериться силами, давай бо-  
роться.

— Согласен, — ловит его на сло-  
ве Синус, потом обращается к  
нам: — четыре месяца только и де-  
лаю, что воюю со столбами, на этот  
раз хоть живого человека повалю.

— Нашла время шутить, — уже  
всерьез говорит Непаридзе, — по-  
шли, дело важное.

— Не видишь, мы заняты, — ка-  
тегорически заявляет Синус.

Неожиданно кто-то, подкравшись  
сзади, прикрывает мне руками гла-  
за. Пальцы нежные, женские. Кто  
бы это мог быть?

— Не узнаешь, Нодар? — слы-  
шу голос Цисаны.

Я оборачиваюсь и смущенно го-  
ворю друзьям:

— Знакомьтесь!

— Мы уже давно знакомы, —  
смеется Цисана. — Куда ты ис-  
чез? К экзаменам готовишься? Я то-  
же занимаюсь. Сегодня ты свобо-  
ден? Зайдем ко мне на часок, по-  
занимаемся. Помнишь, еще в школе  
я отставала по химии. А сейчас и  
вовсе одолела она меня. Будь дру-  
гом, помоги.

Только я собрался ответить, раз-  
дался звонок. Все поспешили в  
зал.

— Ты в каком ряду сидишь? —  
спрашивает Цисана.

— Я... Я сейчас же приду... В  
двадцатом.

— Мы совсем рядом.

В дверях давка, каждый стара-  
ется первым занять место. Я поти-  
хоньку прокрался к выходу.

Холодный зимний ветер набро-  
сился на меня, остудил мои рас-  
красневшиеся щеки, принялся ши-  
пать их. Небо было усыпано зве-  
здами. Казалось, небесный режис-  
сер хотел сделать мне приятное и  
велел включить весь арсенал све-  
тил. Привет вам, звездочки-краса-  
вицы, привет, горы, леса, дороги,  
привет и тебе, тьявкающая вдали  
собака, привет... Я спешу к обще-  
житию, а щеки горят, ветер лохма-  
тит волосы, лезет за шиворот, за-  
плетается в ногах, щекочет шею.  
Смотрю, повсюду рассыпались звез-  
ды. Везде мерцают они: на небе и  
на рудниках. Мерцают, словно хо-  
тят сказать — хорошо жить на  
земле.

— Здóрово, здóрово! — кричу я во всю глотку от избытка радости.

\* \* \*

— Сколько можно ждть вас, — с укором встретил меня Пармен. Я обвел глазами комнату. У печки сидели секретарь комитета комсомола нашей шахты, длинный, сутулый Кузя и неизвестный мне молодой человек в пальто. Тут же на кровати примостились Эдишер и Кнача.

— Знакомьтесь, — сказал Пармен, — секретарь райкома комсомола. — Мы пожали друг другу руки. — А это Нодар. Остальные, наверное, сейчас подойдут.

— Ну, мне пора, — зашепел секретарь райкома. — Посоветайтесь и сами решите, сможете ли бороться за звание бригады коммунистического труда или нет.

— Какой такой бригады? — прервал я его.

— Пармен объяснит. — Секретарь попрощался с нами и вышел. Пармен и Кузя пошли провожать его.

Эдишер тут же увлекся возней с трансформатором от приемника. Кнача развалился на кровати и начал пускать кольца папиросного дыма.

По моим расчетам концерт в клубе уже подходил к концу, надо было спешить. В дверях я столкнулся с Парменом.

— Ишь ты, уже наострил лыжи, — покачал он головой, — давай прежде поговорим.

— Не до разговоров мне, Пармен. Важное дело есть.

— А я, по твоему мнению, в бирюльки собираюсь играть с тобой?

— Знаю ваши разговоры, — мне не терпелось уйти, — работаем не хуже других, чего еще тебе. А насчет этой самой бригады, так называй ее, как хочешь, мне-то что.

— Погоди, все не так просто, как тебе кажется. Сейчас мы впятером

обслуживаем один штрек. Понятно?

— Открыл Америку!

— А что если возьмем еще двоих ребят и будем работать на двух штреках?

— Вот те на!

— Я тоже говорю, не справится семерым с двумя штреками, — подал из угла голос Эдишер.

— Почему же? По-двое будут в забое, трое сменяют друг друга у пилы. Разве не лучше?

— Заладил одно и то же, — сказал я, лишь бы поскорее избавиться, а самому понравилась его идея. — Пстой, а если порода в шахте начнет оседать, разве семерым с ней справиться?

— Не беспокойся, все учтено. Создается специальная аварийная бригада, — успокоил нас Пармен. — Главное — ни минуты не терять зря.

Я взглянул на часы и рванулся к двери так, словно был прикован цепями и наконец разорвал эти цепи.

— Боже, Синус затеет драку с Тамазом. О бригаде потом поговорим, — бросил я на ходу Пармену и помчался к клубу.

Однако ребята, весело болтая, уже возвращались с концерта. «Может, Цисана задержалась, ждет меня», — подумал я, однако бежать не решался: что подумают товарищи. Впереди шли двое юношей, и я невольно прислушался к их разговору.

— Тебе не кажется странным, — говорит один, — что секретарь зачастил к нам?

— Все закономерно, — глубокомысленно отвечает второй.

— Догадываюсь — Цисану обхаживает.

— За ней многие увиваются.

— Что правда, то правда, девушка она хорошая.

«Так вот где зарыта собака, вот почему привязался к нам секретарь, а сам о бригаде толкует!» — думаю я и, махнув на всех рукой, бегу в клуб. Хочу своими глазами

увидеть, как он юлит вокруг Цисаны. У поворота сталкиваюсь с Синусом, Додо и Лией.

— Нодар, где ты был? — спрашивают они хором.

— Дома, с Парменом беседовали.

— Нашел время для бесед. А Цисана ждала тебя, ждала и ушла.

— Скатертью дорога. Одна ушла?

— Не волнуйся, кавалеров у нее хоть отбавляй. Наш Кузя и Ираклий-болтушок.

— Кто? — обрываю я Лию.

— Ираклий, секретарь наш.

— Болтушок? — смеюсь я. Печаль словно рукой сняло. Ох, и остры на язык эти девочки, не дай бог попасть им на зубок.

— Можешь еще догнать их, — говорит Додо.

— Больше мне делать нечего. Если хотела — подождала бы. А бегать за нею не стану. Лучше Лию провожу домой, — я взял Лию за локоть. Но она осторожно отвела мою руку.

— Я и сама хорошо знаю дорогу, — сказала Лия, — а тебе советую все же догнать Цисану.

— Какая забота о ближнем, — ехидничаю я.

— Вы школьные товарищи, и ничего с тобой не случится, если займешься с ней часок.

— Лия, за что ты дуешься на меня?

— Не говори глупостей, и вовсе я не дуюсь!

— Так почему гонишь от себя?

— Гоню? Оставайся, если так уж хочешь, — сказала она и пошла вперед.

Я даже растерялся. Стою на месте, как дурак, и не знаю, что предпринять.

\* \* \*

На следующий день перед началом смены состоялось совещание. Здесь были: главный инженер, начальник смены, Кузя, несколько

шахтеров, я и Синус.  Накурили, хоть топоры вешай.

— Значит, решено. Пармен, вы включаетесь в борьбу за звание бригады коммунистического труда, — подвел итог совещания главный инженер. Потом обвел всех взглядом и начал перечислять членов бригады: — Ты, Непаридзе, Пхакадзе, Котрикадзе, Табатадзе... — Лабадзе и Ткемаладзе, — подсказал Пармен.

— Может, других подберешь? Боюсь, молоды они, не справятся.

— Справятся. Я за них ручаюсь.

— Дело ваше. Смотрите, ребята, не опозорьте, — обратился он прямо к нам. — Зарубите себе на носу: перевыполнить план — это еще не значит быть достойным высокого звания члена бригады коммунистического труда. Каждый из вас должен быть примером и в работе, и в быту. А то некоторые думают, мол, на шахте мы работаем хорошо, а как ведем себя дома — до этого никому нет дела. Пьянствуют, сквернословят, скандалят. Нет, так не выйдет. Ни ваших планов не хотим, ни ваших дебошей. Коль вступил в бригаду Пармена, то будь любезен и вести себя по-коммунистически.

После совещания Синус побежал искать Додо, а я решился-таки зайти к Цисане.

На мой звонок дверь открыла пожилая женщина, видно, тетя Цисаны.

— Вы к Цисане? Зайдите. Она у соседки, сейчас позову, — а сама осматривает меня с ног до головы. Смущенно теребя кейку, я сел на краешек стула. От нечего делать оглядываю комнату. Посредине стоит круглый стол. На нем скатерть с вышивкой. Скатерть пересекает по диагонали дорожка, тоже ручной работы. В углу на тумбочке — приемник. На стене висит гитара с пышным бантом. Чуть повыше — две увеличенные фотокарточки в черных рамках. С одной укоризненно смотрит на меня из-

под густых бровей старик. Добрая старушка со стянутыми на затылке седыми волосами улыбается, словно подбадривает меня. Я стараюсь прочесть названия на корешках книг, выстроившихся на полках. По обложкам узнаю тома Чавчавадзе, Церетели, Пушкина, Байрона, Жюль Верна. Напрягаю зрение, но других книг не могу узнать. А подойти к полке тоже не решаюсь. Так сижу себе и гляжу по сторонам. Больше всего нравится мне буфет. Массивный, резной. Все в этом доме мне по душе. Я незаметно погружаюсь в мечту. Видится своя собственная комната, убранная почти так же, как эта. Вот я пришел усталый домой, включил приемник, снял с полки книгу или развернул газету и читаю вслух сынишке, взобравшемуся ко мне на колени. Вот подходит ко мне жена...

Дверь распахнулась, и в комнату влетела Цисана.

— Здравствуй, Нодар! Почему ты вчера обманул меня?—укоризненно говорит она, протягивая руку.

— Вчера... я задержался, а потом встретил Пи-эр-квадрата.

— Это который шофер? — вмешивается в разговор тетя Цисаны. — Чтоб ему провалиться. С первого же взгляда я раскусила, что это за птица. Представьте себе, заявляется к нам в дом в грязных ботинках, топчет паркет.

— Разве моя вина, что мы учились вместе? — словно извиняясь, говорит Цисана. — Как откажешь однокласснику?

— Скажи, что занята, некогда, что экзамены на носу. Словом, чтобы его ноги не было у меня в доме. Иначе, смотри: тебя вместе с ним прогоню! — окончательно выходит из себя Цисанина тетя. А я переполняюсь к ней нежной благодарностью. В эту минуту я готов расцеловать ее.

— И часто он захаживает к вам? — спрашиваю я, перелистывая какую-то книгу.

— Не говори. По горло сыты

его визитами. Вот назойливый тип! — говорит Цисана.

— А, бог с ним! Давай лучше позаймемся.

Мы садимся за стол, и Цисана раскрывает учебник по химии.

— Никак не постигну премудрости закона Авогадро-Жерара, — сокрушенно говорит она.

— Да это легче легкого, — улыбаюсь я. — Закон Авогадро касается исключительно свойств идеальных газов. В 1811 году Авогадро установил: в силу того, что молекулярный вес вещества пропорционален каждой отдельно взятой молекуле, составляющей это вещество, грамм-молекулы всякого вещества в газообразном состоянии при одинаковой температуре и давлении будут одинакового объема. То есть объем молекулы зависит от природы вещества. Ясно?

— Ничего не понимаю! — озабоченно отвечает Цисана.

— Ладно, постараюсь объяснить более доходчиво, — решаю я, а сам не могу отогнать назойливые мысли о всякой всячине. Испарина покрывает лоб. Я лезу в карман за платком, но обнаруживаю, что платок-то забыл дома.

— Потерял платок, — хитро улыбается Цисана, — сейчас принесу.

— Не ищи, не надо, — усиленно мотаю я головой, но она все же достает из шкафа белоснежный платок и протягивает его мне.

— Надеюсь, ты не суеверный? Бери на память.

— Благодарю, — смущенно лепечу я и вытираю им, словно полотенцем, лицо и шею.

Мы продолжаем заниматься.

— Давай начнем все сначала, — предлагаю я. — Что такое атом ты уже знаешь, не так ли?

— Конечно.

— Так вот...

Говорю я долго, останавливаюсь на каждой мелочи, часто по многу раз объясняю одно и то же. И что вы думаете — Цисана начинает вникать в суть закона Авогадро,

пытается даже перебивать меня, задает вопросы. Незаметно для себя мы увлекаемся решением задач, пишем химические формулы. Словом, время бежит так незаметно, что, когда мы наконец догадались посмотреть на часы, было уже половина второго.

Даже обидно, что пора кончать занятия, но что поделать — в шесть я должен быть на шахте.

— Нодар, ты просто родился педагогом, вот не знала за тобой такого таланта, — говорит Цисана. — И завтра приходи. Ладно?

— Обязательно приду, Цисана. — Она провожает меня до лестницы, протягивает мягкую, теплую руку:

— Спокойной ночи!

— До свидания, — отвечаю я. Видит бог, как мне не хочется выпускать ее теплую узкую ладонь.

— Ну, ступай, холодно; да и спать пора, — высвобождает руку Цисана. В голосе ее я улавливаю какую-то нежность, теплоту ко мне. Весело сбегая по лестницам, оборачиваюсь — Цисана стоит на том же месте. Улыбнулась, помахала мне рукой и скрылась за дверь.

Большоголовая луна катится по ясному небу. Далеко, у самого края земли, извивается заснеженный горный хребет. А подо мной чернеет бездна Квирильского ущелья. Тихо скользят по канатной дороге вагонетки, издали они напоминают обезьян, уцепившихся одной рукой за ветку. Время от времени из глубины земли доносится грохот от падающей в бункера руды.

Иду я домой и земли под собой не чувствую. Нет, не иду, а лечу на крыльях...

Осторожно открываю дверь, снимаю туфли, чтоб не разбудить товарищей, пробираюсь к своей кровати. Но Пармена не проведешь, чуткий у него сон.

— Где ты шатаешься по ночам? — шепотом ругается он.

— Совсе не шатаюсь, а к эк-

заменам готовлюсь, — огрызаюсь я в ответ, юркнув под одеяло.

— С каких это пор волокитство называется подготовкой к экзаменам? — не унимается он. — Брось, Нодар, не срами нашу бригаду. Вчера только решили весь мир удивить, а сегодня — на тебе — гуляешь до утра.

— Зря упрекаешь, Пармен! Знаешь, сейчас я способен всю лаву на плечах поднять! За десятерых могу работать!

— Нашел время шутить.

— Какие там шутки. Клянусь, мне не до шуток. Хочешь, вот ту гору переверну? Мне это ничего не стоит. Ей-богу, правду говорю!

— Значит, так обстоят дела? — Пармен как-то сразу потеплел, по тону чувствую, рад за меня. И я радуюсь, что у меня такой отзывчивый, чуткий друг.

— Значит, так обстоят дела! — повторяет он и натягивает мне на голову одеяло.

\* \* \*

Утром вся наша бригада в полном составе направилась к руднику. Возле входа в штольню Синус остановился, оглядел всех и воскликнул:

— Послушай, у нас и здесь «Швидкаца» получается.

— Как это? — не понял я.

— Посчитай — нас семеро! И в школе так было, и здесь. Видно, судьба наша такая — хочешь, не хочешь — придется организовать ансамбль песни и пляски в составе семи человек.

Пармену понравилось предложение Синуса:

— А что, ребята, и впрямь споем песню. Пусть видит народ, как наша бригада на работу ходит.

— Как будто мы сегодня впервые идем в эту дыру, — заворчал Синус, но первый затынул:

Радость моя, гибель моя,  
Нежная, милая соседка моя...

Пармен, не раздумывая, подхватил мотив. Поглядите-ка на него! И кто бы мог подумать — Пармен, который, казалось, только о делах

и может говорить, подпевает своим гибким басом веселой задорной песне. Мы дружно подтянули. В общем, наше пение стоило послушать! Идем мы гуськом друг за другом по тускло освещенной штольне, а от низких сводов гулко отдается:

Харало, харэ дила лало...  
В ярком платье девушка  
С родника несла водицы.  
Харало, харэ дила лало,  
Дэлиа нани-нанина.

Обогнавший нас пожилой шахтер буркнул товарищу:

— Гляди-ка на них, как заливаются. Можно подумать, что они каждый день с пением на работу шагают.

— Небось, думают, начальство услышит, как новая бригада старается.

Во внезапно наступившей тишине пугающе резко гроыхнул насмешливый хохот, и долго еще эхо возвращало его к нам из темных закоулков штольни.

Пармен рванулся вперед, но сдержался и крикнул вдогонку:

— Мы не для начальства стараемся, а для тебя! Привыкай к тому, что при коммунизме на работу с песнями будут ходить.

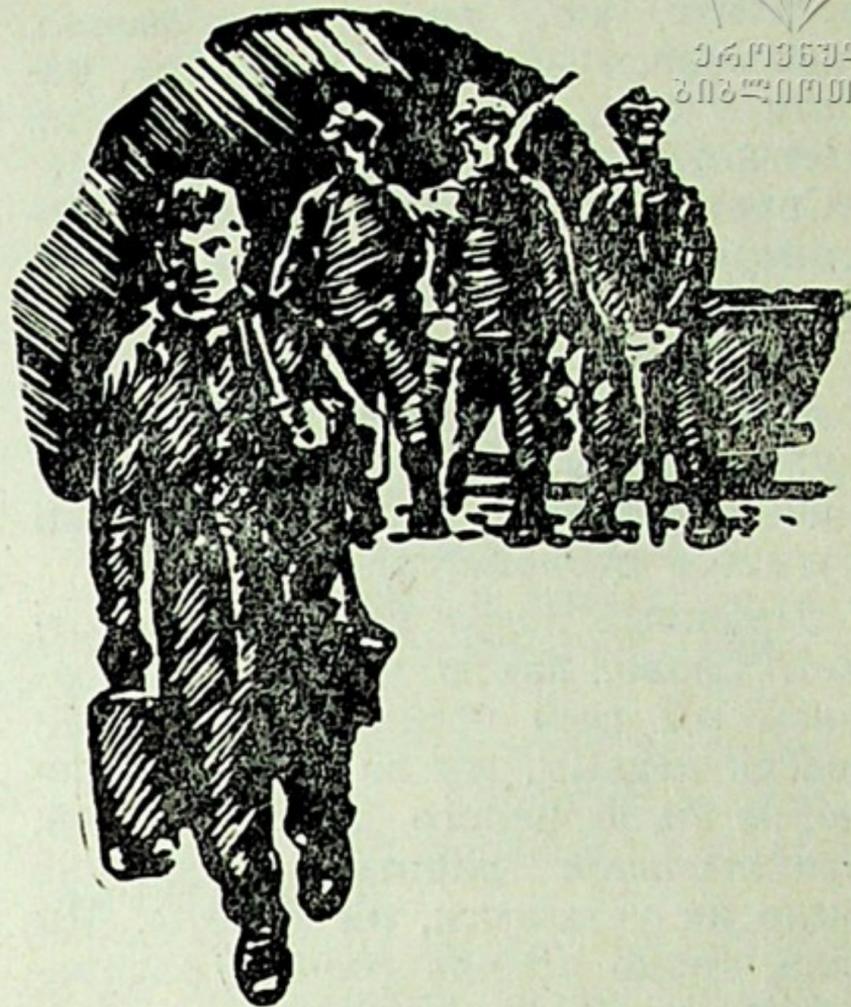
— Поглядим, как ты к концу смены запоешь, — донеслось из темноты. — Много вы с этими стажниками наработаете!

Тут уже не выдержал Синус и пустил вслед удалявшемуся огоньку лампы замысловатое ругательство.

— Прекрати сейчас же, — оборвал Пармен парня. — И вообще запомните все: чтобы с сегодняшнего дня я ни от кого грязного слова не слышал. Не забывайте, какая у нас бригада...

— Он насмехается, а я — терпи?! — возмущался Синус. — Кровь к горлу подступила, не смог молчать.

— Ты сейчас не оправдывайся. горячая кровь не при чем. Наш народ всегда презирал ругателей. Да и в будущем вряд ли сквернословию место останется. Так что, ре-



бята, прекратим дискуссию. А тех, что прошли, не словами будем уговаривать, а работой. Одного из них я знаю — это Арсен Читлакадзе. Его злой язык всему руднику известен. Он и на совещании, когда я обещание давал, против нас выступил: не смогут, говорит, семь человек две лавы обслужить. Да еще, мол, не кадровые шахтеры, а юнцы желторотые. Нам о плане надо думать, а не фокусы показывать...

Что мы могли ответить нашему бригадиру? Тут и говорить нечего. Надо работать, работать так, чтобы у всех Читлакадзе отбить охоту насмешничать. И ребята, правду сказать, постарались на славу. Каждый делал свое дело ловко, споро, словно хотел всему свету (и, конечно, себе тоже) доказать, что может и умеет трудиться по-настоящему. В таких случаях говорят: работали ребята на совесть. Заготавливали крепления, ставили на место, укрепляли свод, даже не заметили, как закончилась смена и на наш участок лавы пришли подрывники.

— Молодцы, ребята, — сказал Пармен, когда мы шли сдавать ин-

струмент. — Хоть и ручался я за всех вас, но, говоря откровенно, побаивался — люди вы новые, работа у нас, сами знаете, нелегкая. Нет-нет, а заскребет на душе: «Справятся ли?» Справились! Посмотрим, что скажет теперь Арсен, чтоб ему...

— Стоп! — прервал его Синус, озорно подмигивая в нашу сторону: — Что я слышу, братцы, никак наш сознательный бригадир сам ругаться собирается?

Дружный хохот прозвучал в ответ. Снова, как и утром, выстроились мы всей бригадой. Пармен шагал первым, мы за ним. И словно не было целого дня тяжелой, утомительной работы. Словно не было ни усталости, ни духоты. Мы шли, гордо подняв голову, расправив плечи. Когда мы подошли к девятому забою, где работал Читлакадзе, Синус расстегнул ворот своей брезентовой куртки, шумно вдохнул воздух и громко, весело затянул «Мравалжамиер» — это было первое, что пришло ему в голову. Так, с песней и шутками, возвращалась домой первая молодежная бригада, которая решила бороться за звание коммунистической.

Поужинав, я отправился с учебниками к Цисане. Полчаса обчищал на лестнице ботинки, прежде чем решил постучаться. Цисана с большим шерстяным платком на плечах свернулась калачиком в кресле, что стояло возле печки, и читала какую-то книгу.

— Что с тобой, заболела? — спросил я.

— Так, пустяк, простудилась немного.

Я рассердился:

— Ничего лучшего не нашла — с насморком уселась возле раскаленной печки.

Цисана беззаботно махнула рукой.

— Пустяки. Лучше сядь и расскажи мне про эти проклятые коллоиды. Целый день бьюсь — ничего

понять не могу. — Потом спросила: — А как ваша молодежная?

— Превосходно! Сегодня мы в двух забоях работали. Представляешь, нас семь человек, а дело сделали за десятерых.

— Устал?

— Да что ты!

Мне все время хочется говорить о том, как наша бригада поработала, какой умный парень Пармен, как здорово все это. Да и про Читлакадзе я бы рассказал Цисане. Но замечаю, что она почему-то не в настроении. Видать, и впрямь плохо себя чувствует.

Мы устраиваемся за круглым столом, раскладываем книги, тетради и начинаем заниматься.

Прошло несколько часов.

Тетя Цисаны молча принесла два стакана чаю, поставила на стол и на цыпочках удалилась в кухню — боялась помешать.

Неожиданный громкий стук в дверь прервал наши занятия. Я вскочил на ноги, побежал открывать. Гляжу — Синус, взволнованный, бледный.

— Что произошло? — спрашиваю.

— Ты ничего не слышал?

— А что я должен был слышать? — снова спрашиваю я.

— Одевайся, пошли. — Синус говорит отрывисто, глядя куда-то в сторону, словно боится посмотреть в глаза. — В левой лаве обвал.

— В нашей?

Я не помню, как схватил свою шапку и бросился бежать. Цисана взволнованно кричит мне вслед:

— Что случилось? Да объясните же, ради бога, что случилось?

У меня нет времени оборачиваться и объяснять. Я бегу к руднику. Но она не отстает.

— В забое обрушился свод, — коротко сообщает ей Синус.

Цисана хватает меня за рукав, пытается остановить:

— Подожди, не ходи туда, там ведь опасно. Подожди, и я с тобой. Там справятся и без тебя.

Я не могу понять, что ей от меня нужно, о чем она просит.

— Не могу ждать. Ты не волнуйся, я вернусь, и все тебе расскажу.

— Отчего обрушилась порода? — спрашиваю я на бегу Синуса.

— После взрыва, — отвечает он.

Я его понимаю: сейчас не до длинных объяснений. Надо же, случиться такому несчастью, да еще сейчас же после ухода нашей бригады. Теперь, наверное, начнутся разговоры: пустили новичков, они второпях и не закрепили свод как следует, вот вам и рационализация — «семь вместо десяти». Словом, у тех, кто не верил в наше начинание, найдется, о чем поговорить.

— Но мы ведь крепили на совесть, — пытаюсь я отогнать от себя навязчивые сомнения.

Синус не удивляется и отвечает, словно и он думал сейчас о том же.

— Это знаем мы с тобою. Поди докажи это всяким комиссиям. Теперь пойдет: горком, управление треста, прокуратура, милиция! Все уже там, на месте происшествия. — Он тяжело дышал, то ли от быстрой ходьбы, то ли от волнения. — Аварийная бригада спустилась в забой, больше никого не пускают.

Мы все же переоделись в спецодежду, натянули шахтерские каски и бросились ко входу в штрек. Там уже собралось много народу, стояли автомобили. Милиционер с усталым видом повторял:

— Нельзя, товарищи, пускать никого не велено.

Я пробрался сквозь толпу:

— Как то-есть нельзя? Мы там работаем.

Кто-то поддержал меня:

— Пропусти их, это их лава обрушилась.

Милиционер посторонился, пропуская нас с Синусом. Мы шли по темному длинному штреку, который еще совсем недавно оглашала наша веселая песня. Бригада... Горько было думать, что в первый

же день нашей работы случилась такая беда. Нет, я не боялся ответственности. Больно было другое: мы ведь, действительно, крепили все на совесть. И как доказать теперь, как убедить эти недоверчивые глаза, которые, казалось, укоризненно смотрят на нас со всех сторон, что мы были правы. Прав был Пармен. Семь человек может работать в двух забоях. И мы настоящие шахтеры, а не «стажники».

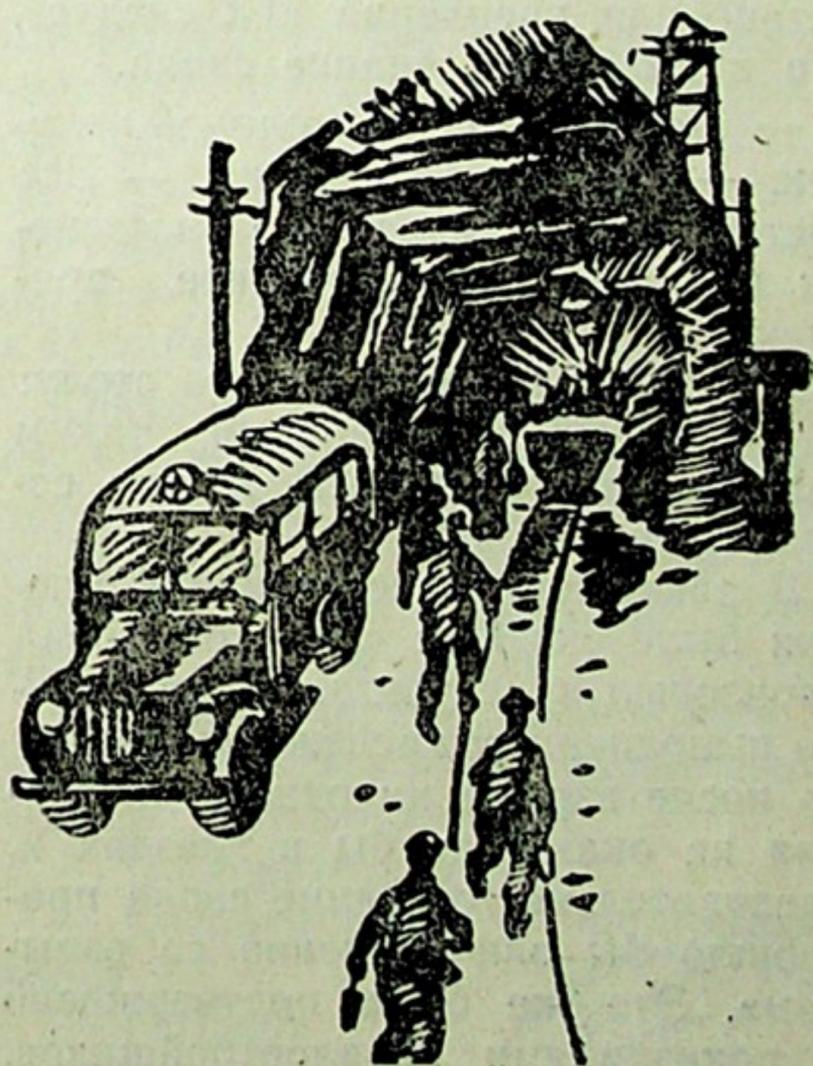
Синус горько махнул рукой:

— Я готов пойти в тюрьму, если наша бригада в чем-нибудь виновата.

Ого, Синус уже думает не о себе, а о бригаде. Хороший он все же товарищ, этот дерзкий на язык, неумный парень.

...Всю ночь мы вместе со спасателями расчищали завал. Синус брался за самые большие камни, работал с остервенением. Даже покрикивал на меня: «Давай, давай». Мы совсем не удивились, когда увидели, что Пармен тоже здесь. Инженер, руководивший спасательными работами, попытался прогнать нас: идите, мол, наверх, здесь опасная зона. Пармен огрызнулся:

— Мы лучше тебя знаем, что здесь за зона.



— Для вашей же пользы говорю, — обиделся инженер. — Мы, ребята, и без вас справимся, вам здесь делать нечего.

— Как — «ничего»? Даже узнать уже, оказывается, не имеем права! — Пармен так закричал на инженера, что тот даже растерялся.

— Что узнать?

— Причину. Почему обвалился свод? Почему крепления полопались? Почему в правом забое столбы стоят, как каменные, а здесь не выдержали?

— Ну, ответить на это не так просто. Экспертиза обследует все и даст заключение. Тогда и выяснится, кто должен отвечать за все.

В ответ Синус только протяжно свистнул.

— Все выяснится, не волнуйтесь, — пообещал инженер.

Легко сказать — не волнуйтесь! Попробовал бы он на нашем месте оставаться спокойным. На следующий день нам было не до работы: пришлось идти к следователю. Следователь попался дотошный. Вызывал каждого поодиночке, подробно расспрашивал, задавал всякие «каверзные» вопросы. Ему, видно, очень хотелось доказать, что мы, погнавшись за славой, второпях не установили крепления как следует, что и вызвало оседание свода.

— Не губите себя, молодой человек, — увещевал он меня. — Все обстоятельства дела уже выяснены и только чистосердечное признание...

Я стукнул кулаком по его столу:

— Привык ты с ворами таким языком разговаривать. А мне сознаваться не в чем.

В заключении экспертной комиссии было сказано: «Если бы обвал произошел в результате неправильно выполненных крепежных работ, то после взрыва ни одного крепления не оказалось бы в гнездах и, следовательно, оседание свода произошло бы одновременно со взрывом». Это же было подтверждено и показаниями навалоотбойщиков.

Сменный мастер тоже написал в своей докладной, что лично проверял все крепления, которые были установлены в полном соответствии с требованиями техники безопасности.

Таким образом, виновных во всем этом деле не было. «Стихийное бедствие», — заключила прокуратура... Ну, естественно, и наказывать никого не стали. Только как-то сами собой поутихли разговоры о том, что наша бригада борется за звание коммунистической. Да и работали мы прежним способом, в одной лаве.

Пармен молча встретил это решение. Собственно говоря, даже и решения специального никакого не было, просто все пошло на старый лад. Только наш бригадир вдруг стал молчаливым и суровым, не то что песни или шутки, — голоса его мы целыми днями, бывало, не слышали. В один прекрасный день, так же, не говоря ни слова, он собрал свои пожитки, кое-что раздарил нам на память — просто поставил каждому на тумбочку. А потом сел на оголенную свою кровать:

— Я, ребята, вам всем очень благодарен: вы меня поддержали и работали как надо. Работайте так и дальше. Верю, знатные шахтеры из вас получатся. А я больше не могу. Жена давно пишет: приезжай, мол, пригляди за родным домом. Трудно ей одной с малыми детьми. Думал я их сюда переводить, чтобы сыновья к шахтерскому делу сызмальства пригляделись. Но теперь вижу — лучше мне к ним перебираться. В колхоз пойду, да и по жене я скучаю, хватит нам врозь жить. — Пармен невесело усмехнулся своим словам, взял чемодан, закинул оставшийся с военных времен вещмешок за спину и, не прощаясь, вышел из комнаты. Синус утверждал потом, что видел на его глазах слезы. Но никто ему не верил — не такой человек был Пармен Ниорадзе, чтобы показать кому-нибудь свое горе.

Потянулись обычные дни: работа, вечерами — учебники, тетради с формулами, изредка кино или танцы. Стал забываться и обвал и наша идея о двух забоях. Только Арсен по-прежнему не давал нам прохода. Он видеть не мог нас равнодушно, обязательно пускал вслед какое-нибудь ехидное замечание.

— Ну как, бригада, может, и вам хочется за вашим бригадиром вслед?

— Прежде мы тебя отправим куда-нибудь подальше, — ввязывается в перепалку Синус. — Отойди с пути, а то сейчас я тебя к... — но тотчас же замолкает и начинает смущенно оглядываться, словно боится, чтобы его ругань не дошла до Пармена.

И так каждый день. Вечером я приходил к Цисане усталый, злой. Но она умела какими-то простыми словами, улыбкой или даже молчанием отогреть меня. В общем-то надо сказать, что мы с ней за это время действительно как следовало повторили школьную программу, особенно по химии. Увлеченный мыслями о делах нашей бригады, я даже не очень волновался на приемных экзаменах. А может быть, меня успокаивала привычная обстановка: приемная комиссия, специально прибывшая из Тбилиси, расположилась в управлении треста. В общем, так или иначе, но экзамены я сдал. Цисана — тоже. И вот настал наконец тот долгожданный миг, когда объявили, что мы — студенты первого курса заочного отделения горного факультета. Нам выдали студенческие билеты, зачетные книжки, учебные программы, объявили, в какие месяцы будут читаться для нас лекции.

— Я — студентка! Даже не верится, — Цисана вертит в руках студбилет и с таким вниманием разглядывает на нем фотокарточку, будто в первый раз увидела свое лицо.

Студенты! Цисана, и я, и Тангенс! Все мы студенты. Здорово!

Только Синус не сдавал с нами, утверждал, что он и без <sup>учебы</sup> жизни проживет. Однако, <sup>увидев</sup> наши новенькие студбилеты, он торжественно объявил, что к будущему году и он обязательно будет студентом.

Поздравления, радость вновь принятых — все это скоро прошло. А когда настало время заниматься, выяснилось, что это вовсе не так легко, как казалось с первого взгляда. Посудите сами — работали мы то в первую смену, то во вторую, то в третью. После целого дня работы, вечером, никакие формулы в голову не лезут. Когда выходили в ночную смену — тоже не лучше: днем не высыпаясь и потом ходишь сонный. Правда, начальство помогало нам, шло навстречу. Да и мы сами установили строгий режим — не ходили так часто, как прежде, ни на тренировки, ни в кино.

Занимались мы по-прежнему у Цисаны. И как-то само собой получилось так, что когда устраивались за столом, из всех троих чаще всего оказывался рядом с девушкой именно я. Она привычно клала руку мне на плечо и, заглядывая в мою тетрадку, приближала свои волосы к моему лицу. Вначале мне было неудобно: что, если ребята заметят?.. Но они просто, без зубокальства, по-товарищески принялись к сведению новое расположение мест за столом и ничем не напоминали о своих прежних отношениях к Цисане.

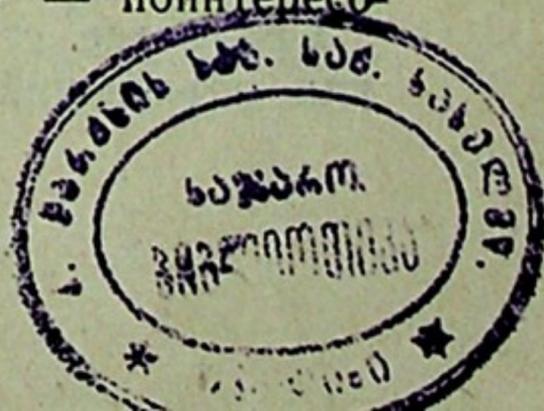
Синус не ходил с нами заниматься. Он вообще стал надолго исчезать с наших глаз: то ли пропадал у Додо, то ли еще где-нибудь. Впрочем, скоро он заставил обратить на себя внимание.

Однажды, когда я был у себя в комнате, он прибежал взволнованный и сразу потребовал:

— Одолжите деньги.

— Сколько тебе? — поинтересовался я.

— Пятьсот.



— Что-о-о?! — Я не мог прийти в себя. Нам нередко приходилось одалживать друг у друга по десять — двадцать рублей до полочки. Но такая сумма...

Разумеется, ни у кого из нас таких денег не оказалось. Но Синус пристал: «достаньте да достаньте!» Пришлось сложить все наши сбережения. А он даже не поблагодарил, схватил деньги и выбежал из комнаты.

Вернулся под утро мрачный, молчаливый. В комнате было темно. Непаридзе приподнялся с подушки и спросил:

— Ты где был до сих пор?

— Не твоё дело, — буркнул Синус.

— Он нашёл клад и раскапывает его в темноте, — высказал предположение Эдишер. Синус не выдержал, взорвался.

— Да ну вас с вашими разговорами! Оставьте меня в покое. — Он сердито стащил через голову рубашку, швырнул её на спинку кровати, стал расшнуровывать ботинки.

Я не мог больше терпеть. Вскочил и как был, в одних трусах, подбежал к Синусу.

— Ты, друг мой школьный! — Я старался не кричать. — Пока что никто не снимал с нас ответственности за товарища. Так что ты свои разговоры брось. Да и из бригады нашей мы ещё тебя не выгоняли. Хочешь ты или не хочешь, а ответ тебе дать придется: где ты бродил в полночь, куда деньги девал? Может, наш друг воровать начал, а мы — «не наше дело», мы — в сторонке?!

Эдишер зажег свет. Синус некоторое время в упор смотрел на меня, потом махнул рукой и бросился ничком на кровать.

— Ваши деньги, ребята, я Пиэр-квадрату проиграл, — проговорил он, не поднимая головы, и пояснил: — В карты.

Сразу все стало понятно, никаких объяснений больше не требо-

валось. Тяжелая, гнетущая тишина стояла в комнате. Никто не мог первым нарушить молчания. Эх, сейчас бы сюда Пармена. Он всегда умел находить нужные, точные слова, идущие прямо к сердцу. Но Пармена не было. Был Синус, наш старый товарищ Синус, хороший парень и весельчак, который попал сейчас в беду. Молчание становилось невыносимым, и я спросил:

— Как это произошло?

Конечно, я сразу почувствовал, что задал глупейший вопрос (Эх, Пармен, он сумел бы...), что совершенно не имеют значения отдельные подробности. Но странное дело, Синус словно почувствовал облегчение, приподнялся и взволнованно, горячо, торопясь и сбиваясь, заговорил:

— Нас было четверо: мы вдвоем и ещё Читлакадзе с Самсоном Гарапша, вы его не знаете... Пошли в заброшенную штольню, постелили брезент, псыесили карбидку. Сперва шла мне карта. А потом Читлакадзе как ударит по банку. Тогда я и побежал к вам за деньгами, думал отыграюсь... А то, кроме ваших, у меня ещё две тысячи было — собирал на мотоцикл.

Я спросил:

— В какой штольне играли?

Но Синус словно уже позабыл о своей растерянности, и перед нами был опять уверенный в себе и решительный парень.

— Уж не собираешься ли ты накрыть эту лавочку? — ответил он. Потом, заметив мое возмущение, поспешно добавил: — Нет, нет, бога ради, без лекций. А мне дайте возможность ещё раз встретиться с той троицей, уж я им покажу, как надо в карты играть! Все свои деньги вмиг отыграю!..

Ну что вы скажете такому человеку! Но о Синусе — потом. Прежде надо рассказать о других важных событиях, которые имеют непосредственное отношение к моему рассказу.

Правду говорят, что человек ради большой радости может перенести всякие лишения. Иначе, честное слово, я бы не пережил путешествия до села, где жил Пармен. Ехал я в расшатанном грузовике, с кузовом, обтянутым брезентом и пышно именуемым «грузовым такси». На это такси продавали билеты в неограниченном количестве. А что касается посадки в него, то зависела она исключительно от силы и напористости самого пассажира. Места брались штурмом, скамейки, закрепленные на бортах, сгибались под тяжестью пассажиров и их груза. И вдобавок ко всему — наши дороги, с сотнями поворотов и тысячами выбоин. К концу пути я ощупывал руками все части своего тела, чтобы убедиться в их целостности и сохранности.

С шумом, ссорами и шутками добрались мы до цели. Наш грузовичок лихо завернул на площадь и, фыркнув напоследок, остановился возле сельсовета. Я с трудом перелез через борт кузова и спрыгнул на землю. Медленно сделал несколько шагов, прежде чем почувствовал, что ноги в состоянии служить мне. Потом разузнал, где живет наш Пармен, и направился к нему.

Пармен с закатанными до колен брюками стоял во дворе с мотыгой в руке. Увидев меня, он чуть с ума не сошел от радости.

— Вот это радость! — кричал он, обнимая меня. — Нодар, парень, да ты ли это?! Заходи, заходи во двор, собаки не бойся, не укусят. — Потом он вспомнил, что все еще держит мотыгу, отбросил ее и крепко поцеловал меня в губы. — Сегодня у меня счастливый день, такой дорогой гость посетил мой дом!

Пока он тащил меня к крыльцу, я успел рассмотреть его дом. Оконные и дверные рамы не были застеклены. С балок густо свисали гроздья перезимовавшего виногра-

да. Гирлянды лука и чеснока украшали столбы балкона, а круглые белые тыквы сияли, как фонари.

Жена Пармена выглянула на шум из небольшой кухоньки во дворе. Следом за нею выбежали друг за другом трое ребятишек.

— Что случилось, из-за чего такой шум? — начала было хозяйка, но, увидев меня, тотчас же гостеприимно заулыбалась и взбежала по лестнице, вытирая руки передником. Она издали начала извиняться: — Простите, у нас в доме гость, а я ничего не приготовила. Во всем виноват мой муж, ничего он порядком не делает...

— Ничего, Нодар не чужой мне человек. — Пармен шел, обнимая меня за плечи. — А куда его вести, как не в свой дом? Хоть и не успел я здесь доделать всего по-своему, но ты уж меня прости, друг...

— Пожалуйста сюда, дорогой, — хлопотала хозяйка, — здесь у очага устроим вас.

— Человек с дороги, — прервал жену Пармен, — его сейчас не разговорами угощать надо, а хлебом да вином. — Потом он обернулся ко мне: — Вино у меня не покупное, сам давил.

Мы уселись на низких скамеечках. От очага шло приятное, успокаивающее тепло, которое напомнило мне мой дом, маму, Корбудэ... Даже запах сажи казался приятным и родным.

— Не нравится? — спросил Пармен, заметив, что я рассматриваю помещение.

— Я сам рос в такой кухоньке, — ответил я. — Хотя, откровенно говоря, не думалось мне, что наш Пармен согласится по старинке жить.

Пармен задумчиво смотрел на пляшущие языки пламени в очаге, поглаживая волосы сынишки, прильнувшего к его коленям. Потом, словно оправдываясь, заговорил:

— Да и я здесь жить не собирался. Думал, перезимваем, пока дом закончу. Только долго что-то пере-

браться не можем: то одно не доделано, то другое.

Потом встряхнул головой и спросил:

— Что мы все обо мне да обо мне! Расскажи лучше, как там наши ребята, как вы все живете?

— Я за тобой, Пармен.

Он недоверчиво вскинул глаза, потом снова уставился на огонь.

— Ребята очень просили тебя вернуться, — повторил я.

— Правда? — Пармен приподнялся и схватил меня за руку. — Правда? Ребята еще помнят меня, верят?!

— Иначе бы я не трясся на этом проклятом драндулете. Мы всегда тебя помнили. И верили, что наша бригада снова будет работать так, как ты тогда придумал. И ты снова будешь с нами. Послушай: после того обвала, помнишь? — (Пармен закивал головой — мог ли он забыть?) — нас перевели в другой забой. А тот законсервировали. Потом встал вопрос о продолжении работ. И что же выяснилось? Там, оказывается, под верхним слоем не скальное основание, а песчаное. Понимаешь, песчаное. И мы ни в чем не были виноваты. Крепления уходят в грунт, не держатся. А мы ведь этого не знали, правда? Говорят, тридцать один год назад в Читатура тоже был такой случай, тогда даже человек погиб. Так что твой метод совершенно правильный. Мы всегда это знали.

— Я думал, вы этого не понимаете, — вставил Пармен, который слушал меня, не подымая головы.

— Нет, правда, мы верили. Вот меня и послали сюда. И письмо к тебе дали. Возвращайся, Пармен...

В уголке глаза Пармена росла и наливалась слеза. Беспкойные отблески пламени отражались в ней. Потом она скатилась, оставляя тусклую дорожку. Пармен начал поправлять кеци на огне. Потом смущенно проговорил:

— Надо будет врачу показаться — что-то слишком нервный я

стал. Ночами не сплю, все думаю как там мои ребята на руднике. Клянусь вот этими детьми, даже чудились вы мне — и ты, Нодар, и Тангенс, и Эдишер.

Хозяйка постелила чистую скатерть на маленький трехногий столик и начала расставлять на нем всяческую снедь. Я даже удивился, как она сумела разместить все это: горячие свежеспеченные кукурузные лепешки — мчади, молодой сыр, нарезанный и залитый чесночным соусом, зажаренный на глиняной сковороде цыпленок, а в середине гордо высился толстопузый кувшин с вином.

Пармен обхватил кувшин за узкое горлышко и наполнил старинный рог.

— Попробуй-ка моего вина!

— За твое здоровье, Пармен! Ты счастливый человек, имеешь такую прекрасную семью, чудесную жену-красавицу и детей, красивых, послушных.

Жена Пармена засмеялась:

— Это они такие послушные при чужом человеке. Поглядели бы вы, какие они, когда одни остаются.

— Ты, Нодар, жену мою особенно не расхваливай, — вмешивается в разговор Пармен. — Не то загордится, нос задерет...

— Она в моих похвалах не нуждается. Непонятно только, чего ради она за тебя замуж вышла, неужели лучше никого не нашла, — шучу я.

Пармен делает вид, что сердится, но я вижу, что он очень доволен. Еще бы, кому не приятно, когда хвалят его жену! За столом становится непринужденно, словно все мы очень давно знаем друг друга и ни на минуту не расставались. Шутим, пьем, смеемся. И дети вплетают свой звонкий смех в наш разговор.

— Этот тост — за твое возвращение, — поднимаю я рог.

Жена Пармена протестующе машет руками.

— Что ему на руднике? — кричит

она. — И здесь неплохо: свой дом, семья, дети, в колхозе трудодень богатый. Да и подработать можно. Вон Симон, сосед наш, набрал зеленого ткемали две полных корзины и в Тбилиси по три рубля за стакан продавал. Тебе на руднике сколько пота пролить надо, чтобы столько денег заработать.

Пармен весело хохочет, слушая жену.

— Хоть вы отговорите его, дорогой, — обращается ко мне жена Пармена. Я не могу сдержать улыбки:

— Меня прислали сюда уговаривать его! Мы поедем вместе.

\* \* \*

«Швидкаца» снова шагает по главному штреку — наша бригада в сборе. Дирекция выполнила наконец свое обещание и увеличила освещение на руднике. Длинный ряд ярких лампочек убегает вперед.

Пармен, конечно, идет первым. Ребята следуют за ним с такой радостью, словно направляются на демонстрацию. Все молчат. Только резиновые подошвы наших сапог на каждом шагу шумно целуют землю. Я не знаю, о чем думают в эту

минуту мои товарищи, но мне снова и снова вспоминаются пути-дороги, которые свели нас здесь, в штольне. Можно сказать, что мне пришлось выдержать первое серьезное испытание в жизни. И им, моим друзьям, тоже. Как мы его выдержали? Не знаю. Я знаю только одно: мы опять вместе и идем на работу.

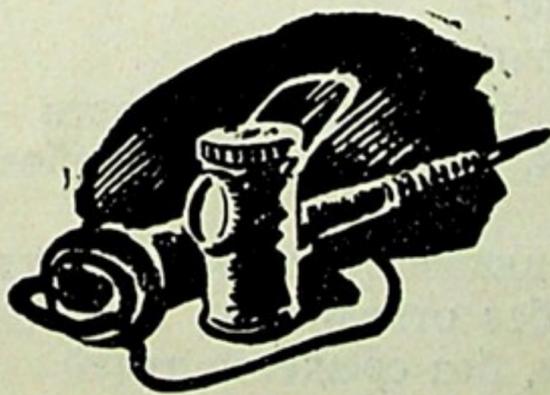
Нет, я и представить себе не мог, когда после школы решил идти на производство, что мне предстоит решать гораздо более трудные задачи, чем те, что записаны в учебнике дифференциального исчисления. Жизнь тогда казалась мне такой же прямой и ярко-освещенной, как эта штольня.

На пути нам попалась разбитая лампочка, за ней другая, третья. Неужели кто-нибудь нарочно сделал это? У кого рука поднялась! Но светлая штольня ведет вперед. И по ней шагает бригада из семи человек — «Швидкаца». Кто-то запекает, и мы все подтягиваем. Далекое эхо разносит нашу любимую песню, которую поет вся Чиатура:

Светлеет неба окоем.

Встает заря в парчовом платье...

Конец первой части



*Галактион Табидзе*

## Из рассказанного луной...

Перевод с грузинского Б. Ахмадулиной

К реке подходит маленький олень  
и лакомство воды лакает.  
Но что ж луна так медлит, так лукавит,  
и двинуться ей боязно и лень?

Ужель и для нее, как для меня,  
дождаться дня и на свету погибнуть —  
все ж веселей, чем, не дождавшись дня,  
вас, небеса грузинские, покинуть.

Пока закат и сумерки длинны,  
я ждал ее — после дневной разлуки,  
и свет луны, как будто звук луны,  
я принимал в протянутые руки.

Я знал наперечет ее слова,  
и вот они:  
— Полночною порою  
в печали — зла и в нежности — слаба,  
о Грузия, я становлюсь с тобою.

И мне, сиявшей меж твоих ветвей,  
твоих небес отведавшей однажды,  
о Грузия, без свежести твоей  
как дальше быть, как не устать от жажды?

Нет, никогда границы стран иных  
не голубели так, не розовели.  
Никто еще из сыновей земных  
не плакал так, как плакал Руставели.

Еще дитя — он жил в моих ночах,  
он был мне брат, не как другие братья,  
и уж смыкались на его плечах  
прекрасного несчастья объятья.

Нет, никогда границы стран иных... —  
я думала, — и как сосуд, как ваза  
с одним цветком среди граней ледяных,  
сияли подо мной снега Кавказа.



Здесь Амирани бедствие терпел,  
и здесь освобожден был Амирани,  
и женский голос сетовал и пел,  
и царственные старцы умирали.

...Так и внимал я лепету луны,  
и был восход исходом нашей встречи.  
И вот я объяснил вам эти речи,  
пока закат и сумерки длинны.

\* \* \*

Все желтое становится желтей,  
и радуга семь раз желта над нами,  
и россыпь драгоценных желудей  
все копит дуб и нежит меж корнями.

Все — в паутине, весело смотреть,  
как бьется в ней природа пред зимою.  
Счастлив рыбак, который эту сеть  
наполнил золотою чешуею.

Пока в дубах стозвонный звон стоит  
и шум летит над буркою Арсена,  
прикосновеньем осень осенит  
все то, что было неприкосновенно.



*Серго Клдиашвили*

## Приморская весна

РАССКАЗ

Перевод с грузинского М. Квливидзе и Л. Громеко

Это было в Батуми, в 1921 году...

Уже в середине марта на побережье вступила в свои права весна. Стояли солнечные дни. Горы и долины были еще голы, но их едва видимый зеленоватый оттенок напоминал о том, что проснувшаяся природа вот-вот оденется в новый наряд.

Я сидел на поляне, у дороги, ведущей к городу. Рядом, завернувшись в шинель, спал мой друг — солдат.

Мы оказались здесь неслучайно. Жизнь нам осточертела давно, последние же дни, когда армию распустили, предоставленные самим себе, растерянные, обездоленные, мечтающие лишь о возвращении домой, мы начинали с поисков хлеба и табака — это была наша единственная забота и часто неосуществимая мечта. Мы то и дело клянчили у встречных краюшку хлеба, одну-две затяжки табаку, заранее зная, что ни того, ни другого не получим.

В это солнечное утро судьба улыбнулась мне: у крестьянина я

купил целый фунт табаку. О, какой это был табак! Желтый, мелко нарезанный, душистый... Не торгуясь, я заплатил столько, сколько он просил. Стоило ли жалеть какие-то жалкие боны, с такой «щедростью» выпущенные правительством, которое готовилось к бегству, боны стоимость которых падала с каждым часом.

Перед нами расстилалась равнина, уходившая к ломаной линии Аджарских гор. На них можно было заметить форты. Издали они походили на те старинные башни, которые сооружают обычно в мастерских театральных бутафоров.

Форты были безлюдны, они опустели с того дня, когда бывшее правительство скрылось на стоящих на рейде иностранных кораблях...

Растянувшись на земле, я беззаботно любовался природой. Тишина, которая окружала меня, и тепло мартовского солнца сладко щемили сердце. Оставалось только одно желание: как можно дольше продлить эти счастливые минуты.

Я с наслаждением затягивался самокруткой и следил за тем, как дым, медленно поднимаясь, растворялся в чистом небе.

И каким адским кошмаром казалось мне все то, что я оставил в городе: голодные солдаты, бредущие по улицам, отчаянные крики женщин перед закрытой пекарней, сыпнотифозные больные, которые валялись на мостовой возле переполненных госпиталей!.. Какое счастье, что я далеко от города, что вокруг покой, тишина и только издали чуть доносится шум морского прибоя! Теперь мне больше ничего не нужно.

Но вдруг мой взгляд остановился на дороге, на которой показался вооруженный отряд. Не только его появление было неожиданным, но и вид солдат вызывал удивление: как-то странно они были одеты.

Я толкнул товарища и разбудил его:

— Взгляни-ка на них... Не мерщится ли мне?!

Товарищ что-то пробормотал, наверно, выругал меня, что мешаю ему спать, затем посмотрел на дорогу и удивленно воскликнул:

— Откуда они взялись? Это ведь турки!

Да, сомнений не было. Впереди отряда на коне ехал офицер. Жеребец под ним был невысокий, золотистого цвета. Он двигался легко и красиво, словно танцуя, но видно было, что конь силен и вынослив. На шее у него висело толстое янтарное ожерелье. Очевидно, хозяин очень холил своего коня.

Я вдруг представил себе те места, где ступали копыта жеребца: анатолийские пустыни, арзрумские скалы, древняя Шавшети. Да, много дорог пришлось ему пройти, прежде чем со своим хозяином он появился здесь и, как злое видение, возник перед моими глазами.

Офицер, рослый детина, сидел в седле, поджав ноги, но если бы он выпростал их из стремян, то, навер-

но, легко дотянулся бы до земли; лицо — словно покрытое ржавчиной, а нос — большой и крючковатый; вообще, офицер напоминал голодного коршуна, вылетевшего на охоту. И только глаза его, всматривающиеся в раскинувшийся впереди город, выдавали страх...

Ухватившись обеими руками за поводья, офицер пытался придержать коня, но тот упорно рвался вперед, и солдаты вынуждены были догонять его чуть ли не бегом.

Будь офицер пешим, его ничто не отличало бы от солдат — покрытые пылью, все они были похожи один на другого: наводящие ужас движущиеся серые тени.

— Не нравится мне это, — взволнованно проговорил мой друг, — не к добру пожаловали...

Конечно, они хотят завладеть Батуми: притаившись в горах, они следили оттуда за побережьем и ждали только подходящего момента, чтобы спуститься с хребта, который мне казался лишь безобидной бутафорией.

Отряд быстро прошел мимо нас, подняв за собой клубы пыли, и наконец сплошная мутная пелена скрыла его от наших глаз.

Отряд вошел в город.

А на рейде по-прежнему стояли иностранные корабли, на которых укрылось «правительство», собравшееся бежать в Стамбул. Дуло пушки британского дредноута с угрозой нацелилось на берег.

— Теперь держись, скоро такое начнется... — махнул рукой мой друг. — Неужели у нас отнимут Батуми!

Но переполох начался даже раньше, чем мы ожидали. Раздумывать было не о чем: после того, как турецкий отряд пробрался к городу, мы, конечно, не могли оставаться безучастными, родина требовала от нас помощи. Судьбу города ведь решали минуты... Неужели он обречен, неужели врагам удастся им завладеть?

Полный злобы шел я по улице

и тут неожиданно услышал незнакомую песню. Каково же было мое удивление и радость, когда я увидел тех, кто так громко и уверенно пел эту песню.

В город вступали красноармейцы.

— Да здравствует свободная Грузия! — воскликнул на улице какой-то гражданин и подбросил шапку в воздух.

Этот возглас мгновенно подхватили другие, и в моем сердце воскресла надежда.

\* \* \*

...В ту же ночь нас разбили на отряды и распределили по участкам.

Наш отряд послали в Ортабатуми.

Вечером из города доносились одиночные выстрелы. А в полночь со стороны железнодорожного вокзала послышалась сильная стрельба.

Рассвело. Передо мной расстилась та же поляна, где еще вчера я так беззаботно предавался курению. Опять те же горы, но теперь они мне уже не казались бутафорией. Не привлекала меня их красота. Да и о какой красоте могла идти речь, когда там стоял враг, и с гор смотрели на меня жадные глаза смерти!

С утра завязались бои у Барцханы, у форта Тамары, затем у электростанции, а потом уже и на Мариинском проспекте, в самом центре города, торопливо загрохотала пушка.

У нас, в Ортабатуми, пока еще было тихо...

Кто-то принес известие, что турок из города выбили, и теперь они движутся в нашем направлении.

Вскоре где-то неподалеку раздалась частая стрельба. Треск ружейных выстрелов постепенно приближался. Наконец я заметил, что напротив нас по косогору ползли люди.

Это были наши. Они медленно

продвигались к форту, на котором с прошлой ночи появилось знамя с полумесяцем.

Мы получили приказ занять новую позицию, ползком продвинулись вперед и расположились в указанном нам месте.

— Что за чертовщина, — бормотал рядом со мной солдат. — Почему меня так знобит? Да нет, вроде, земля сухая... — ответил он сам себе и протянул ко мне руку: — Дай закурить!

— Э, — сказал я, — не время сейчас!

— А мне нечего ждать подходящего времени, милый человек, может, эти минуты для меня последние.

Он свернул самокрутку и жадно затянулся.

— Эх, и вкусный же табачок, дай тебе бог здоровья! — сказал он, взял еще горсть табаку и высыпал себе в карман.

Бой на холме становился все жарче. Наши с криками «ура» перешли в наступление, и в полдень форт был взят.

У турецкого отряда оставался для отступления единственный путь — узкая долина, которая лежала между нами и вторым фортом.

Но как только турки показались в долине, их начали обстреливать с обеих сторон.

Я видел, как они растерялись, как расстроились их ряды. Попытавшись сперва отвечать беспорядочным огнем, они потом скрылись в каком-то окопе. Но увидев, что и здесь наши пули настигают их, они стали выбегать на поляну и, подбадривая себя оглушительными криками, ввязывались в бой. Однако испуганные первыми потерями, быстро возвращались в укрытие.

Неожиданно на поляне показался конь. И опять он был, как видение... золотистый жеребец с янтарным ожерельем на шее.

Но теперь уже без всадника. Конь, обезумевший от страха, ме-

тался, как будто чувствовал, в какую беду попал. Вот он на миг остановился, подогнул передние ноги, ткнулся мордой в землю, потом снова вскочил и понесся. Как по заколдованному кругу, кружился он по поляне.

Но вот он в безысходном отчаянии в последний раз промчался по полю, потом повернулся мордой к окопу, но вдруг встал на дыбы и,

сраженный пулей, упал, как подко-  
шенный.

\* \* \*

На следующее утро в окрестностях города не было ни одного вражеского солдата. Те из них, кто остался в живых, спаслись бегством.

С того дня на светлом морском берегу стала цвести и набираться сил новая Грузия.



*Иван Тарба*

## საქართველო

Перевод с абхазского Э. Иодковского

Мы — люди  
одного большого племени.  
Цвети, страна, ликующе и смело!  
На гребне  
удивительного времени  
поем тебя всем сердцем, Сакартвело.

Из тьмы времен  
крылами бьет История.  
Вливаясь в хор, окреп мой голос слабый.  
Одно над нами солнце —  
то, которое  
сравниться может лишь с твоею славой.

Поют мои друзья,  
поют товарищи...  
Летит, летит наш голос через горы,  
и горы тоже слышат  
голос, славящий  
твой неувядаемые годы.

И горы  
улыбнутся понимающе,  
и море зашумит, внимая думам...  
Гостей,  
твой просторы посещающих,  
ты словно возвеличиваешь духом.

Нет, не исчезнет  
со страниц Истории  
то братство, что не терпит лжи и лести.  
Мы связаны  
единными истоками,  
и в будущее мы шагаем вместе.

Мы — люди  
одного большого племени.  
Цвети, страна, ликующе и смело!  
На гребне  
удивительного времени  
поем тебя всем сердцем, Сакартвело.



*Григол Абашидзе*

## С ВЫСОТЫ ПИРАМИДЫ

Перевод с грузинского П. Антокольского

В знойном мареве плавится зыбь золотого песка.  
В знойно дышащем вихре смешались брожение и жжение.  
Знойный полдень пылает. А там, далека и близка,  
вся пустыня вращается в диком головокружении.

Вся пустыня вращается. Небо спускается вниз.  
Золотые мосты меж землею и небом повисли,  
но нежданно-негаданно в море песков — оглянись! —  
корабли пирамид выплывают, как смутные мысли.

Это тысячелетья гудят. Это вихорь крылом  
задевает щербатые камни. И в золоте полдней  
восстает пирамида, берет высоту напролэм,  
запевает, как каменный колокол, из преисподней.

Вот она распластала свою треугольную тень  
на сожженной земле и подернулась пепельной дымкой.  
И как малая тля, со ступени ползя на ступень,  
меж уступов и выбоин я становлюсь невидимкой.

Четырех тыщелетий меня охватила тоска.  
Раскрываются настезь ворота невиданных радуг.  
Пышет яростью вихорь, колышет он волны песка.  
Мощно стесанных глубин божественный дышит порядок.

Вот касается неба рука моя. Вот из-под ног  
убежала земля, ее краски тускнеют и тают.  
Я один в бесконечности, сам по себе, одинок.  
За спиной у меня два гранитных крыла вырастают.

Я когда-то считал, что лететь — это словно во сне  
легкой птицей парить и качаться и быть невесомым.  
Я считал, что полет по немислимой голубизне —  
только старая сказка, доступная ангельским сонмам.

Здесь я понял впервые, едва посмотрел с высоты,  
что годны для полета гранитные тяжкие глыбы,  
здесь поблизости солнца, где плечи свинцом налиты,  
облака меня держат, они и лететь помогли бы.



Тяжко движется время. Минуты стираются в пыль.  
И чем дальше я вижу, тем ближе предел беспредельный.  
Вот жара. Вот пустыня. Вот вихорь. Вот сказка. Вот быль.  
Суета и бессмертие не существуют раздельно.

Они связаны намертво тысячью свадеб и тризны  
и ни пяди земли не уступят вовеки друг другу.  
Не пустыня крошит пирамиду, а гордая жизнь  
простирает обеим свою справедливую руку.

Но ощерились пасти, и жадно друг друга когтя,  
два воинственных льва, два противостоящих кумира,  
вечно гибнут и вечно дерутся, — старик и дитя —  
полдень вечного света и полночь гибели мира.

Так рождается вера в бессмертие! Это она  
с места горы сдвигала, меняла течение рекам,  
укрощала самум и борца поднимала от сна,  
но дружила с одним только сильным и злым человеком.

Та же вера в бессмертье гнала прежде времени в гроб  
и туманила мозг человеку дарами своими,  
и в ответ он безумствовал: — После меня хоть потоп, —  
лишь бы вечно сияло мое незабытое имя!

Не насытившись властью, не зная границ ничему,  
в безысходном раздоре со смертью самой бледнолицей,  
он свершал преступления, на мир насылая чуму,  
и безудержно верил, что сам-то вовеки продлится.

Черной бурей желанья охвачен и жаждой томим,  
сотни тысяч на смерть обрекал мановением брови,  
слыл соперником бога и звал себя богом самим,  
строил собственный памятник на человеческой крови.

И легли в основанье воздвигнутых им пирамид  
только трупы рабов, только кости, и кровь, и увечья.  
И посмертная слава напрасно громами гремит, —  
мы всегда различаем в ней голос беды человеческой.

Почему же, бессмертье, ты любишь свирепую власть?  
Почему же тебя привлекают кровавые тризны?  
Почему, человеческим горем насытившись всласть,  
ты подножием служишь для этой бессовестной жизни?

Почему ты жестокость берешь для себя образцом  
и смываешь с лица властелина зловещий оттенок,  
чтобы в грязь не ударил он богоподобным лицом,  
почему забываешь про виселицу и застенки?

Почему сохраняешь гробницы и храмы владык  
и каналы, которым тиран подарил свое имя,  
и внимательных зрителей, и молодых и седых,  
обольщаешь неправдой и сказками кормишь своими?



Чтобы ярче сверкала неправда безумная та,  
навсегда сбереженная, плотно сомкнувшая вежды,  
золоченая и заколдованная красота, —  
ты срываешь с нее окровавленные одежды...

Снова вихорь трубит, и колеблется пламенный зной,  
снова в мареве полдня смешались брожение и жжение.  
Снова даль беспредельна. И где-то внизу подо мной.  
вся пустыня вращается в диком головокруженье.

Снова кажется мне, что навек отделен от земли,  
упираюсь я в небо, а сзади, столетья протопав,  
пирамиды встают и пошли, и пошли, и пошли  
в бесконечной вселенной — ковчеги всемирных потопов.

Знойный вихорь летит и в глаза нам швыряет песок,  
и качает и валит нас хлещущий золотом ливень.  
Но откройте глаза! Он недаром красив и высок, —  
в камни врубленный профиль. Любуйтесь же, как горделив он!

Я забуду о смерти, печальные мысли гоня.  
Это ты, красота, твоя неодолимая сила,  
ты, кровавая грешница, заморозила меня,  
вознесла меня к небу, как многих уже возносила!

Я смотрю, оробев, и в ответ усмехнулся колосс,  
переживший пустыни, и вихри, и сорок столетий.  
Нет! Ничто не кончается, что на земле родилось!  
Пусть бесчинствует смерть — этой юности не одолеть ей!

Нет! Ни знойный песок, ни буран ледяной не сотрут  
эти каменных иероглифов, их речи державной!  
И когда красоту создает человеческий труд,  
красота торжествует. Ничто на земле ей не равно.

Пусть пылает пустыня и сыплется знойный песок!  
Пусть недвижно стоят эти древние глыбы на тверди!  
Я взобрался на вышку. Удел мой счастлив и высок:  
я коснулся тебя, красота, избежавшая смерти!

О, какая открыта глазам беспредельная жизнь!  
Как близка мне земля в очертаньях своих еле видных!  
Не робеть! Выше голову! С этих отвесных крутиз  
пирамида несет меня к небу на крыльях гранитных.

Александрия — Тбилиси

*Михаил Квливидзе*

БЕРЕЗЫ В ХЛЕБНИКОВЕ

Перевод с грузинского Е. Винокурова

Здесь север,  
а словно моя деревня,  
где мальчиком жил  
загорелым...  
Вот двор наш,  
вот дом наш,  
а вот и деревья...  
Но кто их так  
вымазал мелом?

А где вы,  
плоды золотого налива?  
Где квеври  
с вином до края?  
Где песня,  
что так светла  
и красива:  
— О Картли,  
нет лучше края!

Все это —  
на Гори,  
на Мцхету  
похоже,  
я верным остаться сумел им...  
Вот двор наш,  
вот дом,  
вот деревья...  
Но кто же,  
измазал их  
мелом?

С ТЕХ ПОР...

Перевод с грузинского Б. Ахмадулиной

Сколько хлопьев с тех пор,  
Сколько капель,  
Сколько малых снежинок в снегу,  
Сколько крапинок вдавлено в камень,  
Что лежит на морском берегу.

Сколько раз дождик лил по трубе.  
Сколько раз ветерок этот дунул, —  
Столько раз — о тебе, о тебе,  
Столько раз о тебе я подумал!



### БЕГСТВО ОТ ТЕБЯ ВО МЦХЕТА

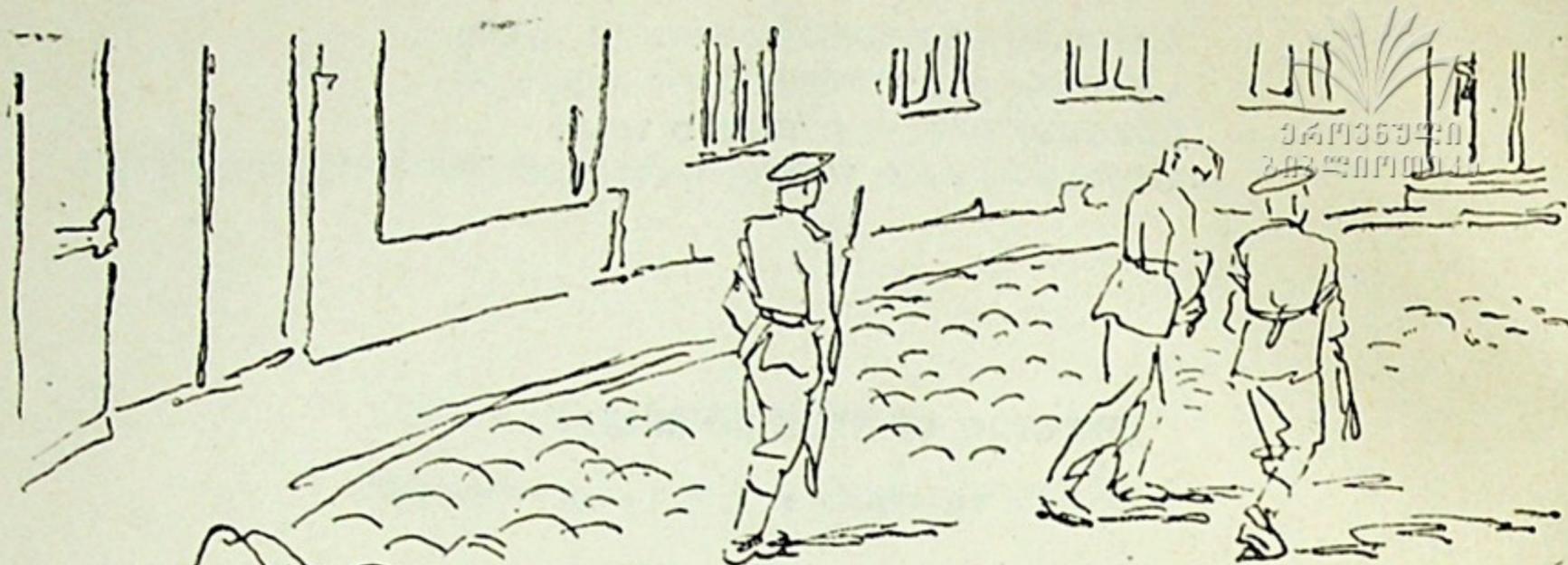
Перевод с грузинского Б. Ахмадулиной

О, как дожди в то лето лили...  
А я бежал от нас двоих.  
Я помню мертвенные лики  
Старух молящихся... До них,  
О, не было до них мне дела,  
Их вид меня не поражал, —  
Я помню лишь, как ты глядела,  
Как улыбалась.  
Я бежал!

И здесь —  
В старинном Мцхета вещем —  
Смеялся я, от солнца слеп,  
Но в этой клинописи вечной  
Твоей руки я видел след, —  
Ты здесь играла, рисовала...  
Ты и тогда была умна,  
И камням этим раздавала  
Иероглифы и имена...

Гора лежала, словно буйвол,  
Так тяжела и высока.  
У ног ее, в движенье буйном,  
Текла и падала река.  
И ворот неба был распахнут,  
И синевою обжигал,  
И луг был заново распахан...  
А я — все от тебя бежал!

Зеленые, как у рыбачки,  
Глаза мне виделась твои,  
Я, словно в каменной рубашке,  
Спасался от твоей любви...  
Я помню плач. И конский храп...  
Как долго мной ты помыкала!  
Я гордо превращался в храм.  
Но это мне не помогало



Михаил Джавахишвили

## Судьба женщины

РОМАН

Перевод с грузинского  
Э. Ананишвили

Продолжение

Рис. И. Гурро

Во время этого спора вошел один из членов комитета, опоздавший на собрание, и сообщил приятную новость:

— Товарищи, поздравляю! Гургенидзе ушел от жандармов.

Группа Тедо приветствовала это известие радостными возгласами:

— Bravo, Зураб! Молодец, Барс! Ну и смельчак!

— Да, смелый человек! — далеко не так радостно повторяли остальные.

Акакий наклонился к соседу, шепнул:

— Разини эти жандармы! Теперь Гургенидзе снова запутает все наши дела! Беспокойный человек, интриган! Лезет в вожди!

— Стыдись, Акакий! — воскликнул вдруг Тедо. — Я вижу, тебя очень огорчает, что Зураб на свободе!

Ахатнели покраснел, потом побледнел — лицо у него стало одного цвета с бородой. Смешавшись, он еле сумел пробормотать:



— Что ты, Тедо? Чего ты на меня набросился?

— Кто это, по-твоему, интриган?

— Не «интриган», — попытался выпутаться Акакий. — Я сказал, что в партии интриги завелись.

— Знаю, знаю тебя, я все прекрасно слышал, — ответил Тедо, махнув рукой.

— Уверяю тебя, Тедо, ты плохо разобрал.

Председатель счел эту небольшую перепалку за простое недоразумение и ввел дискуссию в ее прежнее русло.

Акакию никто не поверил. Он это понял и разволновался. Но слова, сорвавшиеся с языка, уже нельзя было воротить, и он неподвижно сидел до самого конца заседания, насупясь и теребя толстыми розовыми пальцами свою рыжую бороду, что и выдавало его душевное смятение.

Тедо не терпелось уйти, разыскать Зураба, поговорить с ним... Но тут издалека донесся долгий, глухой гул. Это взорвалась вторая бомба. Собравшиеся снова вскочили.

— Час от часу не легче, — покачал головой Акакий. — Ну что ж! Завтра на нас наведут жерла орудий!

— Ты-то всегда выйдешь сухим из воды, так что не беспокойся, — ответил ему Тедо с кривой усмешкой.

Улыбнулись и остальные, а Акакий снова покраснел, рассердился, но скрыл свое раздражение и промолчал. Стрела, пущенная в него Тедо, была отравленной, и все это поняли: дело в том, что Андро Ахатнели не раз выручал сына из беды, спасая от полиции и жандармов. Все присутствующие были по многу раз арестованы, уволены со службы, лишены куска хлеба, истязаемы в тюрьме и сосланы в дальние края. Некоторые и сейчас скрывались от полиции. А Акакию лишь раз пришлось увидеть Метехскую тюрьму, да и то его при содействии отца и Авшарова на третий день выпустили оттуда с извинениями.

Спор продолжался. Он был прерван третьей бомбой, разорвавшейся где-то недалеко. За грохотом взрыва последовала частая и беспорядочная пальба.

— Товарищи, собрание закрыто. Разойдемся спокойно, по одному, — объявил председатель. — Нет смысла продолжать обсуждение. Беспечность может нам только повредить. Но пусть никто не воображает, что сегодняшнее собрание раскололо наш общий лагерь. Напротив, наша энергия и наша твердость растут день ото дня. Пусть наши разногласия останутся нашим семейным делом, не станем выносить сор из избы, — это только порадует врагов! Разойдемся по своим местам и будем служить нашей святой цели с еще большей энергией и упорством.

\* \* \*

Акакий шел быстрым шагом по опустевшей улице, казалось, объятый страхом и трепетом. Редкие прохожие почти бежали, согнувшись и вобрав головы в плечи; одни только школьники шествовали смело и вызывающе. Лавки и магазины были заперты; лишь кое-где сквозь приоткрытые ставни выглядывали испуганные торговцы.

Внезапно появившийся из-за угла Чавчавадзевской улицы военный патруль преградил путь прохожим и принялся обыскивать их одного за другим.

Акакий побледнел. За пазухой у него лежала пачка свежих прокламаций, только что полученных от Севастия. Давно он положил се-

бе за правило никогда не держать дома или при себе ничего запрещенного. До сих пор он неукоснительно следовал этому правилу, но именно сегодня дьявол соблазнил его — и вот он погиб! Акакий взял себя в руки, затянул вполголоса какую-то песенку и, нагнув голову, двинулся вперед, так как уклониться от встречи с патрулем было уже невозможно.

— Руки вверх! — приказал один из солдат и потянулся к нему, собираясь ощупать его карманы.

Вдруг Акакий увидел перед собой командовавшего патрулем поручика Климиашвили и, обрадованный, громко приветствовал его:

— Мое почтение, батано Сандро!

— Здравствуйте, батано Акакий!

— Дорогой мой, избавьте меня, пожалуйста, от этого срама! Не подвергайте меня публичному обыску, как какого-то карманного ворешку!

— Оставь! — приказал Сандро солдату. — Пожалуйста, батано Акакий, проходите. Кланяйтесь вашим родителям и вашей сестре.

— Чего же мне за вас кланяться, — улыбаясь и разводя руками, ответил Акакий. — Сегодня день рождения Кето, приходите и поздравьте ее. Вспомним прошлые времена и повеселимся по старому грузинскому обычаю.

Вдруг сзади до Акакия донесся солдатский окрик:

— Стой! Стой, стрелять буду!

Акакий обернулся и увидел Тедо, стоящего с поднятыми руками. Солдат тщательно обыскивал его. У Ахатнели мелькнула было мысль сказать Климиашвили, чтобы Тедо тоже оставили в покое, но почему-то язык не повернулся: должно быть, стыдно показалось назвать своим приятелем рабочего.

Солдат вытащил из кармана Тедо пачку бумаг и подвел задержанного к поручику.

— Не по-русски написано, — сказал он, передавая листки Климиашвили. — Может, вы прочтете, ваше благородие?

Акакий сразу узнал те самые прокламации, которыми был набит его собственный карман, приготовился что-то сказать Климиашвили, но запнулся и опоздал, опоздал на несколько секунд...

Климиашвили бросил на Акакия быстрый взгляд, словно спрашивая о чем-то, но не получил вовремя ответа и повернулся к солдату:

— Отведи этого человека к коменданту и сдай его вместе с найденными при нем прокламациями. Ступай!

Тедо улыбнулся Акакию какой-то странной улыбкой и несколько раз многозначительно кивнул ему. Солдат вскинул ружье и, подтолкнув арестованного, зашагал следом за ним.

— Так мы будем ждать вас! — бросил Акакий на прощание поручику и двинулся вверх по Чавчавадзевской улице. Лоб его был нахмурен. Он терзался угрызениями совести.

«Что означают эта странная улыбка и эти кивки? — спрашивал он себя. — Разумеется, упрек и... и угрозу! Мог ли я его спасти? Кажется, мог. Наверное, мог. Но ведь не нарочно же я промолчал! Дьявол его знает, что мне сковало язык! И ведь опоздал-то я всего на несколько секунд! А Сандро даже вопросительно поглядел на меня! Хоть бы я замолвил слово за парня! Выручил бы, задобрил бы его. А теперь дружки Тедо раззвонят об этом на весь город, сживут меня со света упреками! Эх, теперь уж дела не поправишь — что пользы жалеть да охать!»

Вдруг Акакий вспомнил о только что избегнутой опасности, достал из нагрудного кармана прокламации и разорвал их на мелкие клочки. «Зачем мне это читать? — подумал он. — И без того ведь знаю до последнего слова все, что здесь может быть написано!»

Минут через десять он подошел, насвистывая «Марсельезу», к дому номер семь, в котором жил он сам, его родители и братья.

\* \* \*

Акакий, Нико и их двоюродный брат Григол почти одновременно появились в гостиной Андро Ахатнели.

Григолу лет тридцать пять. Это человек среднего роста, плотный и крепко сбитый, с жесткими волосами и короткой шеей, обожженный деревенским солнцем и обветренный. Он стал брить бороду лишь с тех пор, как переселился в город—месяца два тому назад. Поэтому его широкое лицо как бы составлено из двух половинок—верхней, загорелой и огрубевшей, и нижней, гладкой и светлой.

Нико скромно уселся в углу и развернул газету. Он принадлежал к этой семье, родился и вырос в этом доме, и часто бывал в нижних этажах, у братьев и родственников; но родителей он в последнее время посещал редко и держался у них принужденно, как в гостях. Особенно остерегался он разговоров о политике, неизменно оканчивавшихся неприятными спорами.

Речь зашла о событиях этого дня, о бомбах и о пострадавших от них. Никто не знал точно, сколько человек погибло и что это были за люди.

— Тебе, наверно, известно, Нико, чьих рук дело все это кровопролитие? — спросил Димитрий двоюродного брата.

— Откуда мне знать? — буркнул Нико.

На мгновение воцарилось молчание. Потом Акакий, потирая руки и сладко улыбаясь, спросил Цверадзе:

— Как ваши дела, почтенный Яков? Сколько продали за неделю муки, сколько запасли шерсти и сколько закладных на дома скупили?

— Эх, сударь, — скромно ответил тот, — мне ли тягаться с другими купцами? Не дошли бы до них ваши слова — а то примут за чистую монету и в два счета меня разорят! Да я вообще только и существую, что благодаря их поддержке, так что могу испытывать одну лишь благодарность к ним...

— Знаем, знаем вас — готовы глотки друг другу перегрызть! Да и перегрызли бы давно, кабы не объявился у вас общий враг—пролетариат. Под его натиском и объединились купцы. Хе, хе, хе! Что, разве не так? Знаем, знаем! Хе, хе, хе! — И Акакий шутливо потрепал Цверадзе по плечу.

— Что вы, батоно Акакий!

— Ладно, ладно, не обижайтесь! — прервал собеседника Акакий. — Нам с вами пока что нет причин ссориться. Сначала надо уничтожить общего врага, бюрократию и феодалов. А потом уж мы и за вас примемся, хе, хе, хе. Да нет, шучу, дорогой мой Яков, шучу! Не верьте мне! Хе, хе, хе!

— Якову, небось, кажется, что это и впрямь только шутка, — вставил Григол, удобно располагаясь в кресле-качалке, — а на самом деле Акакий сказал ему чистейшую правду!

Димитрий громко расхохотался. Улыбнулся и Андро.

Цверадзе хотел что-то сказать, но осекся; палец его так и остался протянутым в воздухе. Он был в недоумении — надо ли принимать слова Акакия всерьез? Но Акакий был настороже:

— Смотрите, не давайте себя обмануть! — воскликнул он. — Не стоит верить всему, что печатается в нашей партийной прессе и в наших прокламациях. Надо уметь понимать написанное между строк. Мы не хуже вас знаем, что рабочий может существовать только по милости капитала. Социализм сможет утвердиться в России только через сто-двести лет, а до тех пор нам нужны сотни и тысячи культурных, образованных, интеллигентных торговцев и промышленников. Без вас мы задохнемся, как рыба без воды.

На этот раз расхохотался Григол.

— Значит, политику ты берешь себе, а экономику оставляешь ему? — подал он едкую реплику.

— Совершенно верно! — подхватил Акакий. — Мы и не собираемся совать нос в торговлю и промышленность. Зато коммерсант не понимает политики и чуждается ее. Политика, в основном, — дело юристов.

— То-есть адвокатов, таких, как ты, да? — снова прервал его Григол. — А что ты оставляешь рабочим?

Нико оторвался от газеты и устремил на Акакия изумленный взгляд. Дмитрий, стоявший у окна, ввернул с улыбкой:

— Хозяину козы вполне достаточно козьего хвоста.

Акакий смутился и вспыхнул, но овладел собой и ответил, прочесав пальцами свою рыжую бороду:

— Рабочих вы оставьте, пожалуйста, в покое. Не вам о них говорить! Мы с рабочими всегда поладим, найдем общий язык. У каждой партии есть свой боевой штаб и есть своя армия.

— Кто из вас — штаб, и кто — армия, об этом спросим лучше Зураба Гургенидзе. Впрочем, может, и Нико сумеет нам кое-что сказать по этому поводу, — возразил, по-прежнему улыбаясь, Дмитрий.

Нико молчал.

— Все это — наши внутренние дела. Мы не нуждаемся в посредниках и примирителях. Поговорим лучше о чем-нибудь ином, — отрезал Акакий и снова обратился к Цверадзе. — Сегодня расстановка сил такова: по одну сторону баррикады — рабочие, крестьяне и прогрессивная интеллигенция, а по другую сторону — царская бюрократия, дворянство и помещики-землевладельцы.

— В какой же лагерь ты запишешь меня? — спросил Григол.

— Ты — сторонник свержения царизма и, следовательно, принадлежишь к прогрессивному лагерю. Но с другой стороны...

— Ну?

— С другой стороны, ты националист и землевладелец, а следовательно — реакционер.

— Земля, о которой ты говоришь, наша общая, — ответил Григол, приподнимаясь в кресле. — Я выплачиваю каждому из вас аренду. Ты сам, например, получаешь от меня шестьсот рублей ежегодно. В этом году ты взбунтовал моих крестьян — да, да, это ты и Нико их взбунтовали! — и тем самым лишил меня дохода, но тем не менее требуешь своих денег. А следовательно, ты не просто помещик, а кое-кто похуже! Ты грабишь крестьян моими руками, да еще присваиваешь мой труд. Вот Нико — честный революционер. Он отказался от своей части имения и от доли в этом доме.

Дмитрий ласково провел рукой по густым и встрепанным волосам Нико, молчаливо соглашаясь со словами Григола. Однако Акакий держался иного мнения.

— Нико поступает глупо. Он должен был потребовать от тебя свою долю дохода и пожертвовать деньги на дело революции.

Тут и сам Нико вмешался в спор.

— Кто из нас рассуждает глупо, всякому ясно. Требовать у Григола арендную плату, когда источник его дохода иссяк благодаря нашим стараниям!.. Где же твои хваленые принципы и юридические основания?

Согнутый палец Андро Ахатнели принялся выстукивать дробь на ручке кресла. Это означало, что ему не нравится резкий тон начавшегося спора. Сыновья и племянники его учли это и заговорили сдержанней.

— погоди, Григол, дай сказать... Не надо волноваться, — продолжал Акакий, подсаживаясь к Григолу. — Это очень сложная и интересная юридическая проблема. Ее необходимо рассмотреть с разных точек зрения.

Последовало обстоятельное рассуждение, в результате которого было доказано, что Акакий Ахатнели имеет полное право восстанавливать крестьян против помещиков, но при этом не терпеть убытков; что он вправе раздавать крестьянам чужие поместья, а свое любым способом сохранить за собой; что всякий землевладелец — враг свободы и справедливости уже потому, что он землевладелец, а Акакий — только Акакий и никто больше — может называться революционером, поборником свободы, и в то же время пользоваться доходами от своего имения; что Григол — «сторонник» революционного движения и потому — прогрессист, но в то же время не верит в социализм, пользуется наемным трудом и, следовательно, является несомненным регрессистом.

Все дружно рассмеялись, а Григол в сердцах воскликнул:

— Да ты, братец, никакой не юрист и не социалист!

— А кто же? — немедленно подхватил Димитрий.

— Ты гениальный метафизик, казуист и каббалист! Если бы ты отказался от своего социализма и поселился где-нибудь в Хашури или в Хони, то был бы первым адвокатом в округе. Как сказал Юлий Цезарь...

— Знаю, знаю, — прервал его Акакий. — Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе. Но вот ты был именно первым человеком в деревне, а тебя оттуда прогнали. Я же — сотый или тысячный в городе, и этого мне достаточно.

Андро сидел неподвижно, словно погруженный в дремоту, и лишь время от времени насмешливо улыбался.

Тут появилась Кето. Она вся светила счастьем — казалось, в гостиной вдруг сдернули с окон бархатные портьеры. Братья и родичи встретили ее радостным оживлением: поздравили, расцеловали и поднесли подарки.

Отец дал ей еще утром сто рублей и сейчас ограничился тем, что расцеловал ее.

Григол преподнес вышитую бисером атласную сумочку.

Подарок Акакия — хрустальная ваза, наполненная шоколадом — стоял на окне.

Рядом с вазой красовался огромный букет благоухающих цветов, принесенный Цверадзе.

Димитрий подарил кухне «Витязя в тигровой шкуре» в новом, роскошном издании. Огромная книга в кожаном переплете покоилась на рояле, а рядом с нею громоздились стопкой тома Чернышевского и Добролюбова, которые раздобыл для сестры Нико.

Кето села у рояля, подняла крышку и, рассеянно перебирая кла-

виши пальцами одной руки, принялась рассматривать полученную в подарок сумочку.

— Я вижу, подношение Григола понравилось Кето больше всего! — сказал Димитрий.

— Чудесная сумка! — ответила Кето. — Таковую не купишь в магазине!

— Разумеется, нет, — обрадовался Григол. — Нынче в магазинах продают только безобразные, бездушные машинные изделия.

— А у этой сумки есть душа? — спросил Акакий.

— Надо понимать, что говорят, Акакий! — возразил Григол. — Душа не в буквальном, а в фигуральном смысле. Всякая прекрасная и редкостная вещь непременно сделана вручную. Иногда оружейник, гончар, золотых дел мастер оказывается художниками и вкладывают в свою работу душу и сердце.

— Художниками?

— Примеров немало: старинное рукоделье, дедовское оружие, ювелирные изделия, драгоценные ткани и много чего другого... Загляните в музей, поищите в старинных семьях, и сможете сами убедиться. Да что далеко ходить — посмотрите коллекцию наших квартирантов Довлаташвили, и вы будете изумлены.

— Коллекцию твоей сотрудницы Марты?

— Покойного Антона и его дочери Марты.

Когда Григол начал работу в промышленном комитете, там имелось некое подобие курсов, которые он значительно расширил, пригласив при этом Марту в качестве преподавательницы рукоделия.

— Некогда изделия грузинских мастеров высоко ценились во всей Передней Азии, и слава их дошла даже до Европы, — говорил Григол. — Это было известно Пушкину, который посвятил хвалебные строки грузинской стали. Прославлено было и грузинское рукоделие. У Пьера Лоти мы читаем: «Женщина закрыла лицо прекрасным грузинским покрывалом». Александр Дюма, а позднее — Оскар Уайльд восхваляли грузинские шелка, вышивки, и вообще ручную работу. В 1812 году министр финансов Гурьев писал главнокомандующему на Кавказе: «Грузинское рукоделие считается наилучшим во всей Азии и ценится очень высоко. Необходимо обложить изделия этого рода вывозной пошлиной». Капитал разрушил этот мир старинной красоты. Машины почти уже искоренили у нас народное искусство...

— И очень хорошо! — вставил Акакий.

— Для тебя все чужое — хорошо, все свое, национальное — плохо, — ответил Григол. — Ты не хочешь видеть, что ремесленник-одиночка и фабричный рабочий — оба труженики, только первый свободен, а второй является в капиталистической действительности рабом машины.

Завязался горячий спор. Нико развивал ту мысль, что только социализм превратит трудящегося в свободного гражданина, а в настоящее время и ремесленник, и фабричный рабочий одинаково являются рабами капитала.

Андро прислушивался к беседе сыновей и племянников и одобрительно кивал головой всякий раз, как говорил Григол.

— Значит, по-твоему, надо уничтожить машины? — спросил наконец Акакий.

— Вовсе нет, — ответил Григол. — Машина делает свое дело, и бессмысленно противиться ходу истории. Если иностранцы вооружатся машинами, а мы так и останемся с рубанком да швейной иглой, то, конеч-

но, нас легко будет поработить. Мы должны создать собственную промышленность, но притом и всемерно развивать кустарный промысел, который имеет в общем балансе народного хозяйства вдесятеро больший вес, нежели думают иные...

— Мы и не собираемся мешать развитию промышленности, — объявил Акакий.

— Нет, мешаєте! — возразил Григол. — Бесконечные стачки и забастовки отпугивают капитал. Разве Чиатура должна работать так, как сейчас? Иностранные капиталовложения в Грузии не превышают нескольких миллионов рублей, да и те, кажется, скоро будут изъяты. Бегство капитала уже начинается. Манташев и Нобель перенесли свои заводы из Батуми в Египет. Это все — ваша работа, плоды нескончаемых забастовок. В результате несколько тысяч рабочих выброшены на улицу. Они потеряли общий годовой заработок в два миллиона.

— Рабочие не нуждаются в твоём заступничестве, — прервал Григола Акакий.

— Это ты сам всячески стараешься пристроиться к рабочим, да только зря, — возразил ему Григол. — Не забывай, что английский рабочий — а ведь он по сравнению с нашим профессор! — доверяет своей буржуазии и на выборах неизменно голосует за нее.

Терпение Нико было на исходе. Он процедил сквозь зубы:

— Ну, это мы еще увидим, кто скорее окажется профессором — наш рабочий или английский!

— Постой, Григол! — сказал Акакий. — Допустим, в Батуми мы переборщили. Ну, и что из того?

— Скажи пожалуйста — переборщили! — возмущенно шепнул Димитрию Нико. — Тут война в разгаре, а он — переборщили! Стоит ли удивляться, если два или три капиталиста поспешили убраться по-дальше?

— Я и не удивляюсь, — отозвался Мито.

— Что из того? — ответил Григол Акакию. — А то, что вы не отличаете наш собственный капитал от иностранного.

Нико саркастически рассмеялся.

— Ну, влез в свое шовинистически-капиталистическое болото! — воскликнул он. — Теперь его оттуда не вытащишь!

Григол пропустил мимо ушей эту реплику и принялся объяснять Акакию, что национальный капитал — это кровь, обращающаяся по артериям страны, что он принадлежит нашему народу, а чужеземный капитал выкачивает прибыль за границу и обескровливает нацию.

— Этот чудака не имеет никакого представления ни о революции, ни о социализме! — вскричал Нико, вскакивая со стула. — Мы собираемся уничтожить, похоронить, смести с лица земли капитализм, а он тут проповедует: Нобелей и Ротшильдов пока оставьте — авось и мы пользуемся их обедами, — а грузинских купчишек откармливайте, чтобы и они разжирили, как Нобели... Вот уж сел на своего конька, не знает удержу!

Сдержал спорящих и на этот раз Андро, палец которого снова принялся выстукивать дробь; тон и направление беседы переменились.

На днях семейство Ахатнели посетило театр и смотрело «Врага народа» Ибсена. Все единодушно восхищались талантом прославленного артиста Ладос Месхишвили, еще раз блеснувшего в роли доктора Стокмана своей огромной культурой, ярким темпераментом и безукоризненной, классической пластикой.

Потом перешли к другим новым пьесам, рожденным эпохой борьбы

за свободу, и восторженно отозвались о вечно юном Васо Абашидзе, о его бывшей жене, не стареющей, хотя и потерявшей слух, Мако, о их дочери, брызжущей огнем Тасо, о несравненной свахе из пьесы Нагарели «Ханума» Нато Габуния... Политика, казалось, была забыта. Но скоро она вновь приоткрыла дверь и просунула голову в щель, потом широко распахнула обе створки и наконец снова расположилась, как дома, в кругу беседующих.

— Я объездил всю Европу и не переставал изумляться, — рассказывал Григол. — Женщина пасет гусей и в то же время вяжет, вяжет с утра до вечера, не поднимая головы. Войдешь в вагон железной дороги или трамвая — и там все заняты вязаньем. В саду, на площадке, играют сотни детей, а их матери и няни сидят и шьют, вяжут, вышивают. Европейец вечно занят одной мыслью: использовать каждый час, не потерять ни одной минуты. А у нас царит Восток, не знающий цены времени, не ведающий назначения часов... Умение ценить и использовать время создало прославленную европейскую культуру, к которой и мы стремимся, но которой, быть может, не достигнем и через тысячу лет. Знаете, что такое эта культура? Это пот, пролитый в течение десятков столетий, это сгущенная энергия сотен поколений, энергию, которую мы не можем даже взвесить или измерить. Нас уверяют, будто в Европе трудятся только рабочий и крестьянин, а буржуазия пребывает в праздности и прожигает то, что добыто чужим трудом. Это чистейшая выдумка, басни! На десять тысяч буржуа найдется разве что один бездельничающий рантье. Это исключение, а не правило.

— Вот вам настоящая мещанско-буржуазная философия, — пробормотал Нико, с трудом сдерживавший свое возмущение.

Кето одобряюще кивнула и улыбнулась ему. Она вовсе не слушала Цверадзе, сидевшего рядом и нашептывающего ей комплименты.

На этот раз Григол повернулся к Нико.

— Вы ненавидите крестьянина-добытчика и трудолюбивого горожанина, — сказал он с раздражением. — Первого вы окрестили кулаком, а второго — мещанином.

— Совершенно верно, — ответил Нико, расправляя плечи, как бы перед боем.

— А я утверждаю, что материальную и моральную основу культуры создают именно они, а не рабочие и не банкиры!

— Культуру творят все в равной мере — и капиталист, и рабочий, и крестьянин, и горожанин-ремесленник, каждый в своей области, — вмещался Акакий.

— Все дело в том, — продолжал Григол, — что вы прониклись каким-то новым аристократическим духом; вы возненавидели крестьянина и мещанина больше нынешних аристократов!

— Оставь эти басни о нашем аристократизме! Все равно никто этому не поверит, — прервал его с горячностью Нико. — Ты десятки раз восхвалял перед нами Европу, европейского фермера, европейского мещанина, их трезвость, трудолюбие, бережливость и опрятность. Спорить тут, собственно, не о чем. Мы в самом деле отстали от Европы — не на тысячу лет, но все же отстали. Но мы твердо верим, что, совершив революцию и построив социализм, быстро догоним ее. Дело не в этом, а в том, что ты ратуешь за богатое крестьянство и за мелких предпринимателей. Ты говоришь, что они работают больше всех. Сомнительно, чтобы было так. Но даже если это правда, что из того? Возможно, что иной промышленник и иной торговец лично очень много работают. Это ровно ничего не значит. Главное в том, что эти любезные

твоему сердцу мещане и столь уважаемое тобой состоятельное крестьянство относятся к числу опорных столпов существующего строя. Правда это или нет?

— Правда, — согласился Григол. — Ну, так что же?

— Но раз ты приемлешь эти два столпа, значит, ты защищаешь частную собственность, а мы именно ее и собираемся уничтожить, — ответил Нико, вставая. — И вся твоя прогрессивная философия сводится к тому, что ты хочешь подвести под это гнилое здание еще одну опору.

— Какую?

— Сейчас скажу. Орбелиани и Дадвани имеют каждый по сто шестьдесят тысяч десятин. Они никогда не объезжали своих владений и даже не знают границ своих земель. Это — пиявки, огромные пиявки, присосавшиеся к не такому уж обширному телу нашей страны. Никто не может отрицать, что это — настоящий феодализм. И что же ты предлагаешь нам взамен? Чтобы крестьяне выкупили все эти земли, не так ли?

— Да, крестьяне должны уплатить выкуп, — сказал Григол.

— Но они давно уплатили его в стократном размере! Довольно с них, не требуйте большего! — повысил голос Нико. — Но вы все равно не оставите деревню в покое. Вы желаете играть роль просветителей, культуртрегеров.

— Да, желаем! — гордо объявил Григол.

— Вы хотите, чтобы наше дворянство отказалось от своей праздной жизни, вооружилось знаниями и капиталами и превратилось в некое подобие европейского землевладельческого класса. Вот твоя третья опора, и на нее ты возлагаешь все свои надежды. Но это никакая не опора, а соломинка, за которую хватается утопающий, это мечта, призрачная мечта, и революция рассеет ее.

— Довольно, перестаньте! — сказал с раздражением Андро, которому вовсе не по душе были эти речи и весь тон спора. — К чему в день рождения Кето подобные перепалки?

Слово хозяина — закон, и все подчинились главе семьи.

Андро удалился к себе в кабинет, Акакий подошел к взволнованному младшему брату.

— Молодец, Нико! — сказал он вполголоса. — Ты опередил меня — я хотел сказать слово в слово то же самое. Удивительно, как ты скоро перенял у своего учителя его основной прием: отбрасывать все несущественное и сразу добираться до самой сути дела. В одну минуту ты разоблачил Григола и наглядно показал классовую подкладку его рассуждений!

Нико не стал спрашивать у брата, какого учителя тот имеет в виду. Он и так хорошо знал, что Акакий разумел Зураба Гургенидзе, имя которого не раз упоминал с язвительной улыбкой. Конечно, Акакий насмехается сейчас — насмехается как над Зурабом, так и над своим младшим братом! Нико так хочется ни от кого не зависеть, быть только самим собой, а Акакий, да и многие другие, считают его только тенью Гургенидзе!

Заметив во взгляде младшего брата обиду, Акакий, ласково улыбаясь, взял его за руку выше локтя.

— Не обижайся, друг мой! Искусству спора ты научился у Зураба, и очень хорошо сделал, а во всем остальном ты похож только на одного человека, и этот человек — Нико Ахатнели. Всему свету известно, что ты и начитаннее Зураба, и темперамент у тебя ярче, да и как оратор ты превосходишь его. Но дело в том, что... — Акакий зашевелил паль-

цами, — дело в том, что Зураб опирается исключительно на рабочих, и интеллигенту, вроде тебя, ни за что не даст дороги. Только это — между нами, это я говорю потому, что ты мой брат. А вообще я глубоко уважаю Зураба и желаю ему всяческой удачи. Можешь передать ему мои слова и добавить: если он услышит обо мне что-нибудь дурное, пусть не верит наветам. Я знаю, Зураб человек умный и сплетням не придает значения. Но все же... Кто знает...

Поправив таким образом здесь свои дела, Акакий подсел к Григолу и зашептал:

— Взбалмошный юноша наш Нико! Наговорил тут глупостей... Но ты не обращай внимания — станет постарше, поумнеет.

Наконец он завладел Цверадзе, увел его от Кето и затащил в укромный угол.

— Вы замечаете, Яков, как Нико и Григол тянут в разные стороны, — сказал он конфиденциальным тоном. — Оба привержены к крайностям. Разумеется, ни тот, ни другой неправы... Что-то я еще хотел сказать... Ах, да, вы еще не вносили денег за этот месяц. Когда собираетесь? А то комитет наметил целый ряд мероприятий и не может из-за недостатка средств пальцем пошевелить.

— Сейчас принесу деньги, — ответил Цверадзе и исчез.

Кето подошла к Нико.

— Как хорошо ты отбрил Григола! Впрочем, он заслуживает и более резкой отповеди. Взгляды у него путанные и противоречивые. А в общем, он настоящий людоед-шовинист. Ты так четко и ясно обрисовал в немногих словах существо вопроса! Не будь здесь отца, я и сама вмешалась бы в спор. Спасибо за книги — мне хватит их месяца на два. Постараюсь не остаться в долгу. А теперь скажи мне, Авшаров в самом деле убит?

— Так сегодня говорили. Что, жалко?

Ресницы у Кето затрепетали, она прикрыла глаза рукой и сказала дрожащим голосом:

— Не знаю... Не спрашивай... Он был хорошим человеком...

— Это жандарм — хороший человек? И тебе не стыдно? — упрекнул сестру Нико.

— Я не в том смысле... Я другое хотела сказать...

— Знаю, что ты хотела сказать: что у Авшарова были красивые глаза и молодецкие усы. Так ведь?

— Перестань, бессовестный! Замолчи!.. А то я заплачу! — и Кето убежала со слезами на глазах в свою комнату.

— Эй ты, марксист! — крикнул Григол двоюродному брату. — Уж не обратил ли ты и Кето в свою веру?

— Ты ей тоже родня — попробуй, обрати ее в свою! — ответил Нико.

— Кето — наша, оставьте ее в покое, — вмешался Димитрий. — Она ходит в наш кружок, и вам до нее нет дела.

— Как разваливается наша семья! — сокрушенно покачал головой Григол. — Недаром Маркс проводит параллель между семьей и государством. Что за времена настали! Распадаются все семьи, а вместе с ними и государство! Социализм подтачивает общество.

Никто не ответил ему.

Между тем, Цверадзе вернулся и, вызвав Акакия в галерею, сунул ему в руку сложенные бумажки. Потом настала очередь Димитрия, которому он также вручил двести рублей.

— Так вы и меньшевиков поддерживаете? — спросил Мито.

— Что делать, сударь,— ответил, сконфузившись, Цверадзе.— Они ведь тоже за свободу... Две партии— это еще куда ни шло! Да вот в последнее время повадились ко мне еще эсеры и анархисты. Обложили меня данью— прямо не знаю, как быть!

— Гони этих хулиганов в шею и объяви себя членом нашей партии. Если еще кто-нибудь попробует шантажировать тебя, обратись ко мне или Акакию. Мы сумеем управиться с кем угодно.

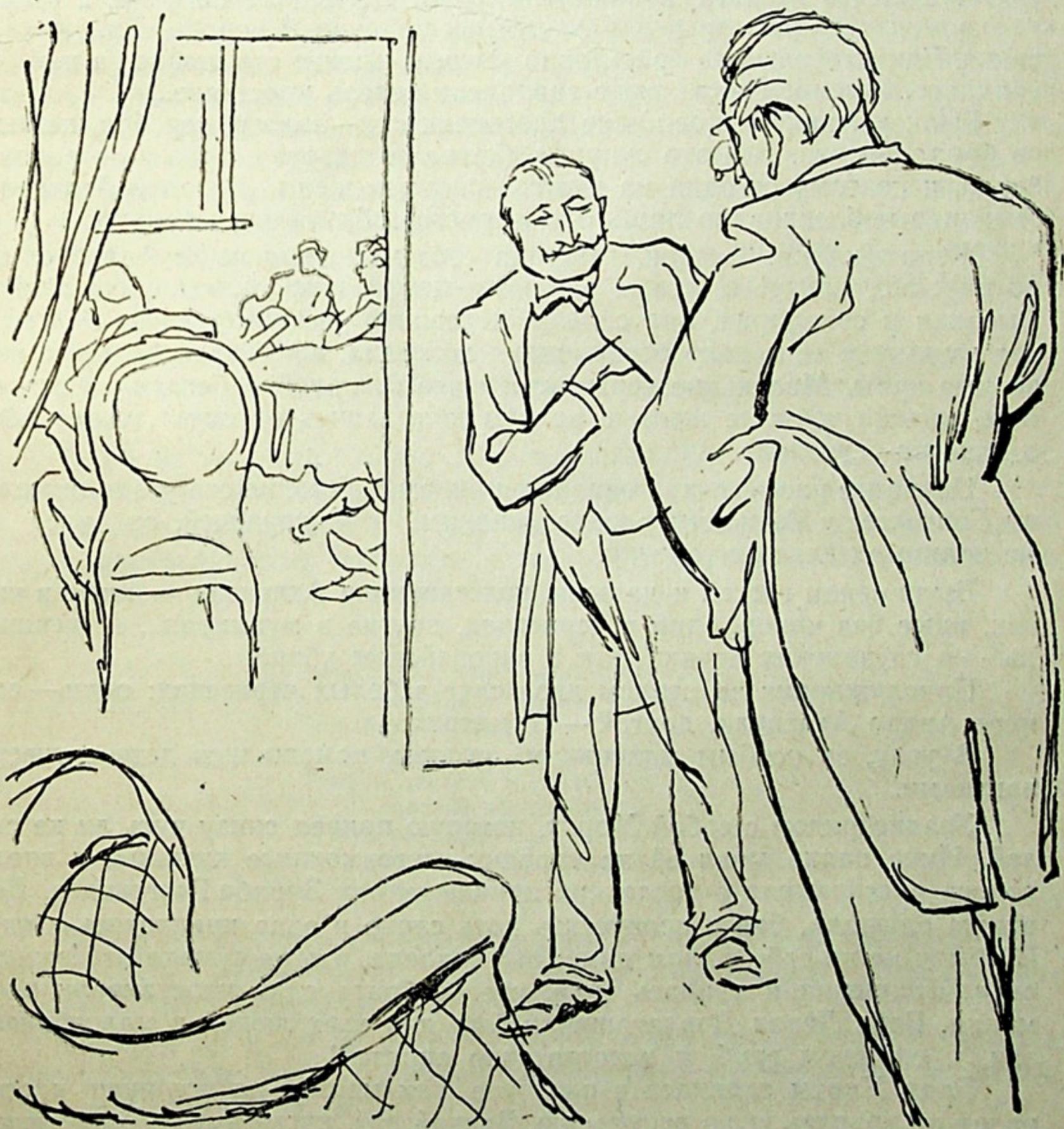
— Так я и сделаю, сударь! Если избавите меня от этих людей, обещаю добавить каждому из вас по сто рублей в месяц.

— Превосходно, договорились!— успокоил купца Димитрий.

Он сразу согласился принять в долю Акакия, но о других соперниках и слышать не хотел. К любым непрошенным претендентам на милости Цверадзе он готов был немедленно направить молодцов с маузерами— для переговоров.

Кето вернулась к гостям и попросила Нико спуститься в нижний этаж, пригласить Марту.

— Сейчас приведу ее,— ответил тот и вышел быстрым шагом.



Часов в шесть семейство Ахатнели вместе с ближайшими родителями и немногочисленные гости разместились вокруг богато сервированного стола. Кето, как виновницу торжества, посадили на почетное место. По обе стороны от именинницы поместились две ее незамужние подруги.

Андро Ахатнели уселся в конце стола рядом с затянутой в черное бархатное платье хозяйкой дома. Старость еще не наложила своего отпечатка на Мариам. Серебряные нити, протянувшиеся среди густой массы ее волос, не были заметны на расстоянии. Старинное алмазное ожерелье, такие же старинные серьги и несколько колец с редкостными камнями сверкали у нее на шее, в ушах и на пальцах, похожие на капли росы.

Жена Григола, Анико, была подстать своему мужу: такая же плотная, круглолицая, обожженная солнцем... В своем старомодном платье она походила на простоватую и застенчивую деревенскую попадью, нежданно-негаданно очутившуюся в великосветском обществе. Анико с малых лет осталась круглой сиротой, воспитывалась в монастыре святой Нины в Мцхета и знала на зубок священное писание, а сверх того множество молитв и церковных песнопений. В городе она бывала редко. Единственный ее брат давно умер, и имение его пошло за нею в приданое. Именем этим тоже завладели теперь крестьяне...

Были у Анико и кое-какие драгоценности—золото, серебро, немного бриллиантов... Все это супруги, бежав из деревни, заложили в ломбарде, и поэтому сегодня на пухлых пальцах жены Григола Ахатнели стыдливо поблескивало лишь одно простое обручальное кольцо.

Жена Акакия, Тамара, выбрала себе место рядом с Анико словно нарочно, для того, чтобы различие между ними бросалось в глаза. Высокая и сухопарая, она сидела, деревянно выпрямившись, болтала без умолку и то и дело беспричинно хохотала, выставляя большие неровные зубы. Маленькие серые глазки ее беспокойно бегали по сторонам, пышно взбитые желтые волосы колыхались от смеха, точно она стояла на сквозняке.

Цверадзе рассчитывал оказаться рядом с Кето, но его усадили между Григолом и Акакием; раздосадованный этой неудачей, он дулся и не поднимал глаз от тарелки.

Были среди гостей и дальние родственники Ахатнели — иные в чинах, иные без чинов, одни в черкесках, другие в мундирах... А женщины — в грузинских лечаки или в европейском уборе.

Прислуживали за столом двое слуг в белых черкесках: один — самого Андро Ахатнели, другой — Димитрия.

В углу, за особым маленьким столом, помещались дети с гувернантками.

Усадив рядом с собой Марту, которую привел снизу чуть ли не силой, Нико накладывал ей на тарелку всевозможные кушанья и вполголоса рассказывал о последних приключениях Зураба Гургенидзе. Девушка слушала, боясь пропустить хоть слово и едва прикасаясь к еде. Ей было не по себе в этом доме: она жалела, что не сумела отказаться от приглашения и явилась туда, где ее брата едва достаивали внимания. Ведь Леван Довлаташвили был для этих людей и малообразован, и слишком груб, и недостаточно опрятен!

Брат Марты славился в околотке как мастер на все руки и старался не уронить свою репутацию. Всякий раз, когда нужно было почи-

нить электричество, водопровод, протекающую крышу или еще что-нибудь в этом роде, неизменно приглашали Левана — он все умел, разве что не мог смастерить луну... Ахатнели отплачивал ему за эти услуги подарками, а иногда — просто поднесенным на балконе стаканом вина. Впрочем, Леван сам строго соблюдал свое место и сызмала избегал всякого иного общения с соседями из верхнего этажа. Этому научил Левана его покойный отец, неустанно твердивший мальчику, что коза должна водиться с козами, а гусь — с гусями.

Зато Кето и Марта с детства были неразлучны, и сама Мариам способствовала их сближению. Супруга Ахатнели дарила сиротке поношенные платица своей дочери, а порой покупала ей какую-нибудь мелочь из белья или одежды. Часто она брала Марту с собой на спектакль, в котором сама принимала участие. Девочка крутилась за кулисами до самого конца представления, прислуживая Мариам в ее артистической уборной. Напоследок она должна была еще сбегать за извозчиком и вместе со своей покровительницей возвращалась домой.

Целые дни напролет проводила Марта в те времена у Ахатнели. Она была одновременно и подружкой, и горничной Кето. Здесь она завтракала, обедала и ужинала и только поздно вечером спускалась к себе, в полутемную комнатку первого этажа. Здесь же, у соседей, Марта научилась читать и писать, переняла их учтивость, правильную речь и умение держаться. Когда девочки подросли, Кето отдала в институт благородных девиц, а Марту жена Ахатнели устроила в школу кройки и шитья, основанную писательницей Екатериной Габашвили. Подружки расстались на долгие годы. Однако в последнее время, с тех пор как в дом Ахатнели ворвался ветер свободы, все крепчавший и грозивший вот-вот превратиться в бурю, Кето вновь сблизилась с подружкой детских лет. Она гордилась в душе тем, что пригласила на свои именины простую учительницу рукоделия и усадила ее за праздничный стол вместе со своими родственниками.

Григол, Димитрий и Акакий наперебой предлагали друг другу почетную должность тамады. В эту минуту в дверях показались два новых гостя.

Один из них был Сандро Климиашвили. Он поднес имениннице где-то наскоро раздобытый жиденский букет и пожал ей руку.

Вслед за поручиком появился высокий, худощавый студент с длинными, растрепанными волосами, с усами и с бородкой. Он остановился на пороге и возгласил зычным басом:

Мир семье, что в день счастливый  
собралась, наполнив чаши.  
Элизбар Шукураули  
за столом всегда на страже.  
Песней, шуткой и стихом он  
усладит веселье ваше.  
Пусть не ведает печали  
Кетеван, что солнца краше.

Элизбара встретили веселым шумом и радостными возгласами:  
— Добро пожаловать!.. Почет присяжному тамаде!.. Каков — принес стихи со слезой и цветок ириса!..

Шукураули в самом деле держал в руках пышно распустившийся ирис на высоком стебле, который он и вручил с почтительным поклоном Кето, добавив при этом:

— «Не отвергают скромный дар, преподнесенный от души»... Впрочем, чего еще можно требовать от такого горького бедняка, как я?

— Ты же обещал посвятить мне к именинам стихотворение! А теперь хочешь отделаться одним цветком? Где мои стихи? Подавай сюда! — сказала Кето.

— Революция упразднила поэтов и отменила такое занятие, как писание стихов, — оправдывался студент.

— Ну, пошел плакаться! — пробурчал Нико.

— Слеза номер один, — усмехнулся Акакий.

Вновь пришедшие поздоровались с гостями — дамам поцеловали, а девушкам и мужчинам просто пожали руку — и сели за стол.

— Ну, Элизбар, предлагай тосты!

За любым праздничным столом Элизбара Шукураули неизменно избирали тамадой. Часто его даже нарочно для этого приглашали в гости, и он ежедневно чуть ли не с утра был навеселе. К Ахатнели он явился уже под хмельком. Сев за стол, он тотчас же наложил себе икры, налил вина и, проведя рукой по усам и бородке, начал:

— Ну-ка, налейте бокалы доверху — пусть они будут полны вина так же, как мое сердце полно безнадежной любовью! — Он кинул на Кето многозначительный взгляд. — Господа, наша именинница носит великое историческое имя, имя многострадальной царицы Кетеван, принявшей мученическую смерть за веру и за родину... И это имя налагает на нашу Кето великий долг, огромную обязанность!

— Значит, кто не носит исторического имени, свободен от всякого долга и обязанностей? — вставил Нико, вызвав всеобщее веселье.

— Тебе никогда не понять таинственной силы и очарования исторических имен, — вывернулся тамада; помянув святую Нину с царицей Тамарой и остановившись на роли женщины вообще в прошлой жизни грузинского народа, он снова повернулся к Кето: — Ты, Кетеван, как черный лебедь в хрустальной башне, и я советую тебе, я умоляю тебя не покидать свое убежище в эту ненастную погоду... Иначе запачкаешь грязью свои крылья и не сможешь потом их отчистить, унизишь свою душу и не сможешь исцелиться.

Кето удивилась: совсем недавно, нынче утром, она разглядела в причудливом нагромождении облаков башню с лебедем, и вот, воображение Элизбара нарисовало тот же образ!

— Черный лебедь... Хрустальная башня!.. «В ней — красавица Этери, с гордой статью лебединой»... Прекрасное, поэтическое сравнение. — слышалось со всех сторон.

Тамада продолжал:

— Взгляни на этот ирис — он зачахнет на суровой песчаной почве. Так же, как этот нежный цветок, захиреешь и ты в бесплодной пустыне — и тогда поздно будет проливать слезы!

— Слеза номер второй, — пробормотал Акакий, а Кето, Марта и Нико переглянулись с тихим смехом, вслед за которым, заглушая все голоса, раздался громкий хохот.

Тамада сразу догадался о причине этой веселости:

— Знаю, знаю, почему вы смеетесь! Черный лебедь уже спустился с башни, встал на пороге и расправляет крылья, готовясь вылететь в мир... А того и не знает черный лебедь, что обломают ему крылья и свернут горделивую шею! Господа, я поэт, и мне слышен гул приближающегося землетрясения. Великий боже, не разрушай хрустальной башни! Не выпускай из нее черного лебедя — Кетеван! Клики битвы доносятся до Кето, и трепещет у нее сердце, как у закаленного воина! Проповедники революции изобрели для женщин особую приманку —

соблазняют их равноправием. Черный лебедь, не поддавайся обману! Уравнять мужчин и женщин возможно только, если женщины станут мужланами, а мужчины превратятся в баб. Но тогда обе стороны будут в проигрыше. Прекрасная Кетеван, осторожней, говорю тебе, не то опалишь свои шелковистые крылья, и поникнет твоя горделивая лебединая шея! Темнее полуночи твои смолистые кудри, и белая прядь — точно Млечный путь, пересекший ночное небо. Осторожней, говорю я тебе — не то скоро, очень скоро потемнеет прядь небывалой белизны, и выцветет, побелеет гишер твоих волос... Целые поколения являются на свет, трудятся и исчезают только для того, чтобы создать нескольких избранных. Кетеван — одна из немногих избранных среди нынешнего поколения. Она не смеет покинуть свою хрустальную башню, она не вправе дать уличной толпе растоптать себя!

— Ну, понес — господи, помилуй! — не вытерпев, проворчал с досадой Нико.

— Оставь бога в покое — он и так вас милует, — тотчас же повернулся к нему Элизбар. — Вы, социалисты, только и знаете, что поносите господа бога, а он и в самом деле отвернулся от нас и стал вашим союзником. Вы должны неустанно хвалить его, воздвигать ему храмы, возжигать свечи и курить фимиамы, потому что он — ваш покровитель и защитник... А ты хулишь господу и поносишь имя его, неблагодарный! — Дружный смех был наградой тамаде; он дождался тишины и продолжал: — Всех больше должны опасаться революции женщины и поэты. Злые времена готовят нам Акакий и Нико! Когда они победят, на свете не найдется ни одной женской ручки, которую стоило бы поцеловать! Руки у женщин будут перепачканы чернилами, покрыты волдырями, изуродованы мозолями... Твои глаза, Кетеван, лучатся, как эта лампада из темного стекла, что горит у вас в углу. Но стоит тебе покинуть хрустальную башню, как в светильнике иссякнет масло, и погаснет радостное сияние твоих очей. Мы, мужчины, обладаем пятью чувствами, но у женщин есть и шестое. Мужчина может существовать без любви, но женщина... Что останется от женщины, если отнять у нее любовь? Одно только платье!

Тамаде то и дело подавали негромкие реплики, но открыто возражать никто не решался: хозяин дома покровительствовал Элизбару. Глаза Андро Ахатнели светились удовольствием, но временами взгляд его становился жестким и колючим и быстро пробежал по лицам присутствующих.

Наконец Акакий не выдержал и буркнул насмешливо:

— Ну, теперь социализму крышка!

— Отвяжись ты от нас со своим социализмом, Акакий, — огрызнулся Элизбар. — Впрочем, дай бог побольше таких социалистов, как ты! Именуешься ты социалистом только потому, что вечно мурлычешь в усы «Марсельезу»... Да и то так тихо, что надо сидеть у тебя на бороде, чтобы услышать. Хоть бы еще напевал «Интернационал», а не «Марсельезу»!

Веселый смех гостей заглушил последние слова тамады. Шукураули умолк и после довольно долгой паузы воскликнул с чувством:

— Прекрасная Кетеван! Твои глаза — две влажные, бархатные сливы!

— Оставь в покое мои глаза! — прервала его Кето, зарумянившись от удовольствия.

— Только об этом я и мечтаю! — возразил Элизбар. — Да на беду они сами не оставляют меня в покое — не знаю, куда бежать от них...

В заключение тамада сравнил революцию с огненно-красным драконом, обвившимся вокруг хрустальной башни и пытающемся выманить оттуда прекрасную царевну — Кето. Но закованный в броню Элизбар готов сразиться со змеем, как белый рыцарь Георгий, — он никому не уступит Кетеван!

Тамаду наградили аплодисментами. Дамы были в восторге — каждая рассчитывала на такой же красноречивый тост по своему адресу.

Жена Акакня, Тамара, затянула «Мравалжамьер». Остальные единодушно присоединились к ней.

Потом Кето спела в ответ своим чистым, звонким голосом «Мадлобели вар» — «Благодарствуйте».

Тамада постарался никого не обидеть — для каждого из присутствующих нашлось у него хвалебное слово и лестное сравнение. Провозглашая тост за Мариам, он помянул богородицу, чьим уделом оказалась Иверия, когда апостолы расходились по странам мира, чтобы проповедовать веру Христову. Хозяина дома он сравнил с апостолом Андреем, просветителем Абхазии и Колхиды. Обратившись к Тамаре, он, как и следовало ожидать, вспомнил золотой век Грузии. Для Анико не нашлось в истории подходящей параллели, и тамада остановился на ее монастырском воспитании, отметил ее скромность, доброту, семейные добродетели и высказал твердое убеждение, что уж ее-то, Анико, даже сам князь преисподней не выманит из хрустальной башни. Марту Элизбар похвалил за ее золотые руки, Григола превознес чуть ли не до небес, а у Димитрия и Акакня обнаружил «красные бактерии», но выразил надежду, что оба скоро излечатся от этого недуга. Зато Нико тамада постарался вышутить, паясничая по своему обыкновению, и заключил, безнадежно махнув рукой:

— Уж если сын Андро Ахатнели решил гнуть горб, как простой чернорабочий, видно, в самом деле близится свегопреставление... Спасайся, кто может!

— Что ж, я своим горбом прокормлюсь, и краснеть мне нечего, а иной сам, как горб, на чужую спину взгромоздится и стыда не ведает, — ответил Нико, и заставил-таки побагроветь Элизбара, который не имел ни кола, ни двора, ничем не занимался и тем не менее жил припеваючи.

Кето, не дав тамаде ответить, запела «Черную ласточку». Андро сидел с огорченным видом.

Но вот тамада, провозглашая здравицу за здравицей обошел по кругу весь стол. Уже подавали фрукты и сладкое. Элизбар еле держался на ногах. Никто его больше не слушал, но он не сдавался и с бокалом в руке бормотал себе под нос:

— На вершине Казбека восседает филин... Зловещее уханье его разносится над родиной. И это — как бы глас судьбы. Но

мы — ядовитые муравьи,  
и яд убьет того, кто нас поглотит...

— Жажда красоты — шестое чувство поэта. Но есть у него и седьмое чувство: извечное стремление взлететь к звездам. Удел истинного поэта — голод, жажда и злоба. Он сам не знает, чего алчет, к чему стремиться... Поэт парит в поднебесье и взирает на луну... А вы... вы — пресмыкающиеся, вы ползаете по земле...

Народ мой — свет моей души,  
А я — его певец и воин.  
Мы друг для друга хороши,  
И я его любви достоин!

— Ну а вы, социалисты...

Того, что требуете вы,  
У меня вам не найти.  
Что имею — вам не впрок.  
Так что нам не по пути.



— Вы думаете, что задали жару нашим врагам, а на деле разите нас самих!

— Нас самих? Это только таким зубрам, как ты, мы хотим задать жару! — шепнул Марте Нико, и оба прыснули. К ним присоединилась и Кето.

Элизбар, который не расслышал замечание Нико, продолжал:

— Истинный поэт сияет в душе своего народа, как зажженная свеча.

— Иной, положим, чадит, как лучина, и наполняет все смрадом, — ужалил его Нико, и снова в этом углу стола зажурчал ручеек смеха.

Но Шукураули и на этот раз ничего не слышал и подарил пиршественному собранию еще один перл своего вдохновения:

Прославит хижину свою  
Превыше всех дворцов поэт.  
Пускай зазубрен меч в бою —  
Острее пера оружия нет!

— Слушайте меня, грузины! Вражда между Каином и Авелем не угасла, она неистребима. В наши дни Каин вновь готовится к убийству, и Авелю неоткуда ждать спасения.

— Если ты — Авель, то я Каин. Скорей, зови на помощь, а то убью, не выдержу! — проговорил Нико, вызвав новый взрыв веселья за столом.

— Бедный Авель! Придется, видно, мне его выручать! — сказала Кетеван.

Элизбар понял наконец, что насмешки и перешептывания относятся к нему, и бросил Нико:

— Я своим умом живу — из всей твоей премудрости ко мне пока ничего не пристало... Да и никогда не пристанет!

— Ну конечно! — с готовностью отозвался Нико. — Горох к стене не пристанет!

На этот раз все расслышали его слова и дружно засмеялись. Уловил их краем уха и Андро. Лоб его собрался в грозные складки.

— Да ведь у тебя нет ни одной собственной мысли, ты только повторяешь то, что слышал от других или вычитал из книг, — отпарировал Шукураули. — Ты любишь ходить по проторенным путям, а я скачу по волоску, протянутому над пропастью, на своем крылатом коне!

— На трехногой кляче, — поправила Кето и ранила Элизбара в самое сердце. Он сокрушенно покачал головой и сказал с мученическим видом:

— Душа моя принадлежит богу, сердце было до сих пор отдано Кето, но теперь я приношу его в дар грузинскому народу... Ну, а тело... Тело мое в ваших нечистых руках — терзайте его, рвите на части, хищники!

— Элизбар, ты ведь филолог... Не знаешь ли, от какого корня образовано название «футурист»? — спросил Нико.

— От грузинского «футуро»<sup>1</sup>, — быстро ответила Кето, и серебристый смех ее потонул в общем хохоте.

Элизбар сложил оружие. Он бессильно опустился на свое место и сказал Кето с укоризной:

— Изменница, и ты надо мной смеешься?

— Нет, нет! Я по-прежнему верна тебе! — уверяла его девушка.

— Не верю! Ничему не верю! Теперь мне ясно: ты уже покинула хрустальную башню и шагаешь по грязи. Возмездие постигнет тебя... И очень скоро... Белая прядь твоя потемнеет, а черные волосы станут седыми. Будешь плакать и стонать и, вздыхая, вспоминать меня... Но будет поздно...

Элизбар спрятал лицо в ладонях и затих. Кое-кому показалось, что поэт беззвучно плачет. Все умолкли, за столом воцарилась мертвая тишина.

— Послушай, Элизбар, — нарушил наконец молчание Акакий. — Где ты сейчас живешь? Можешь ты сообщить нам свой адрес?

Элизбар был безмолвен. Палец Андро нетерпеливо застучал по столу, холодный взгляд его скользнул по лицам гостей, на которых вопрос Акакия вызвал улыбку. Все знали, что Элизбар скрывается от властей и часто меняет квартиру. Но известно было также, что никто его не ищет и не преследует — вся эта детская игра в прятки давно уже сделала Шукураули всеобщим посмешищем.

Марты больше не было в комнате. Она незаметно исчезла.

• • •

Внезапно из гостиной донеслись звуки зурны и барабанная дробь. Дверь распахнулась, и перед изумленными гостями предстал брат Кето, Илико Ахатнели, закутанный в бархатную скатерть, которая должна была изображать облачение священника. На голове у него красовалось какое-то бумажное сооружение, отдаленно напоминавшее камилавку. Илико ввалился в столовую, размахивая плетью, как кадилом, и бормоча:

— О здравии рабы божией болярыни Кетеван господу богу помо-о-лимся-я...

— Господи поми-и-лу-у-уй, — возгласили следовавшие сзади четверо молодых людей в чохах, и веселая компания окружила Кето.

— Да ниспошлет ей многая лета и да помянет ее во царствии своем, господу богу помо-о-о-лимся-я...

— Господи поми-и-лу-у-уй...

Кетеван смущенно улыбалась и растерянно смотрела на своих родных. Андро закрыл лицо руками и сидел, как бы окаменев. Женщины, Акакий, Димитрий и Нико натянуто улыбались, Григол, его жена Анико и Элизбар ожидали с хмурыми лицами конца этой непристойной потехи. А Илико все бормотал, и его непутевые друзья все распевали на церковный лад. Наконец Илико сбросил свой шутовской наряд и крикнул кому-то за дверь:

— Вносите!

Тотчас же вошли пять кинто в широченных шароварах. Каждый из них держал в руках круглый лоток с горой фруктов, украшенный цветами и с зажженной свечой посередине.

— Да здравствует наша Кетеван! — возгласил Илико, и все десять вновь пришедших трижды рявкнули хором:

<sup>1</sup> Футуро — гнилое, трухлявое дерево.

— Да здравствует Кетеван!

— Дай бог ей счастья, радости и дюжину детей!

— Дай ей бог!

Зурна заиграла туш.

Женщины с помощью слуг быстро убрали блюда с кушаньями, а кинто водрузили свои лотки посреди стола и, отойдя в сторонку, принялись крутить усы.

Мариам ушла к себе за деньгами и, вернувшись, раздала кинто десятирублевые бумажки.

Илико бросился к матери:

— Мамочка, на улице дожидается пять фаэтонов... Если не дашь сто рублей, застрелюсь у тебя на глазах!

— Нет у меня таких денег, дружок!

Илико выхватил револьвер и приставил его к виску. Мариам вцепилась в руку сына, увела его в другую комнату. Пока новые гости вертелись около Кето и пили за ее здоровье, Илико получил от матери радужную бумажку и вернулся в столовую.

— Убрать со стола! — приказал он. — Картули!

Зурначи вошли в столовую и заиграли плясовую.

Женщины захлопотали вокруг стола и наполовину освободили его. Кутилы, явившиеся вместе с Илико, ударили в ладоши. Остальные присоединились к ним — все знали, что средний сын Андро Ахатнели не успокоится до тех пор, пока не станцует на столе.

Илико проворно вспрыгнул на стол, подоткнул полы чохи и прошел-мя в лихой пляске среди лотков с фруктами и бутылок. Потом вскочил на дно перевернутой тарелки и заплясал на ней, быстро перебирая ногами. <sup>o</sup>

— Таши! Таши!<sup>1</sup> — выкрикивали его дружки и, наклонившись вперед, хлопали в ладоши у самых его ног.

В ту самую минуту, когда Илико застыл на носках, раскинув руки, в дверях показался ротмистр Авшаров в своем голубом мундире. В руках у него был огромный букет цветов.

Первым заметил жандарма Илико.

— Моему будущему зятю честь и место! — крикнул он.

Четыре его собутыльника немедленно перестали хлопать в ладоши и поддержали его:

— Честь и место!

Появление Авшарова вызвало общий переполох, а возглас Илико и вовсе ошеломил собравшихся. Особенно неприятно были поражены Цвездзе и Климиашвили.

Смутился и ротмистр — но только на мгновение. Он сразу овладел собой и сказал, опустив глаза и чуть заметно пожав плечами:

— Если бы я удостоился такой чести, на свете не было бы человека счастливее меня.

Звеня шпорами, он подошел к Кето, склонился перед нею и с изысканно-вежливым рукопожатием вручил ей цветы.

Авшаров был человек средних лет и среднего роста, довольно плотный, с белокурыми волосами и розовым лицом, унаследованными от матери-северянки. Небольшие светлые усы его были закручены кверху. Он держался так прямо, что слегка отяжелевшее тело его казалось затянутым в корсет.

<sup>1</sup> Т а ш и — бей в ладоши.

Пока ротмистр целовал руки дамам, Нико и внезапно протрезвевший Элизбар бочком выбрались на балкон и ушли так, что никто не заметил их исчезновения.

Авшаров обошел всех гостей, обменялся любезностями с каждым и наконец уселся между Андро и его супругой. Мариам знаком подзвала Кето и усадила ее рядом с собой.

— Ну, мы вам больше не будем мешать, — обратился к Авшарову, паясничая и кривляясь, Илико. — Нас ожидают в «Бельвию» шикарные девчонки.

— Не стыдно тебе? — сказала с упреком сыну Мариам.

— Ступайте, ступайте, батано Илико! Там, внизу, стоят пять экипажей — это, наверно, ваши? — ответил Авшаров, прощаясь с ним вежливым кивком.

Илико и его друзья удалились с громким хохотом. Над кем или над чем смеялись, вряд ли и сами они могли бы сказать.

Когда все расселись по местам, Авшаров закрутил свои красивые усы и обвел присутствующих внимательным взглядом своих больших голубых глаз.

— Сознаться, что мое появление всех вас изумило, — сказал он. — Если угодно, я могу объяснить причину.

Старшие Ахатнели удивились на этот раз в самом деле, а Кето сказала:

— Ну так объясняйте!

— Было чему удивляться — ведь вы все считали меня убитым!

— Что вы, что вы! Мы ничего подобного вовсе и не слышали! — вскричали в один голос дамы и Андро.

— И вы тоже ничего не знали? — спросил Авшаров, взглянув на Кето, Димитрия и Акакия.

— Ничего! Это для нас новость, — ответил за всех троих Акакий.

— Весь город только об этом и толкует, — продолжал ротмистр. — Сегодня у меня день сплошных неудач. Во-первых, утром мы выпустили из рук бунтовщика и разбойника по прозвищу «Барс».

— В самом деле? — воскликнул Акакий. — Значит, Зураб Гургенидзе снова на свободе?

— Да, Гургенидзе бежал. Вы его знаете?

— Нет, нет, сударь! — ответил Акакий. — Слышал о нем и знаю его по имени, но не знаком и не добиваюсь знакомства.

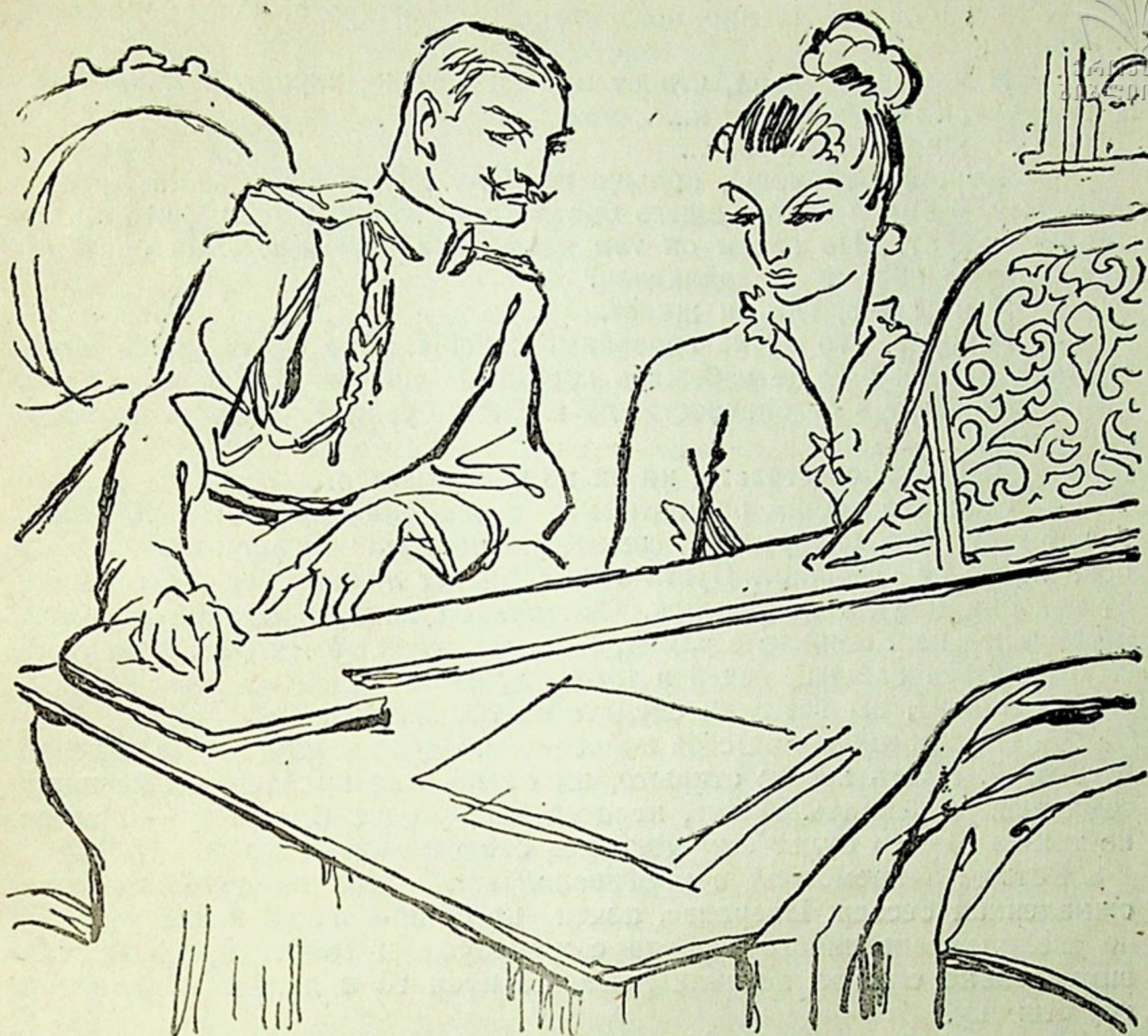
Авшаров коварно улыбнулся в усы и продолжал:

— На беду мою я весь день крутился на улицах, в надежде, что нападут на след этого самого «Барса» Гургенидзе. Оказывается, террористы все время ходили за мной по пятам. На одном из перекрестков собралось несколько полицейских. Я подошел к ним — и вдруг грянул гром, взорвалась бомба... Эти несчастные были буквально разорваны на части, а вашего покорного слугу сбило с ног. Но я быстро пришел в себя, и вот, как видите, наслаждаюсь здесь приятной беседой и надеюсь добраться до дома целым и невредимым.

— Поздравляю вас, Артемий Иванович, поздравляю от всей души! — воскликнул Андро, трясая жандарму руку.

Остальные тоже поздравили Авшарова — одни искренне, другие сквозь зубы... Заговорили о террористах и о войне, объявленной ими властям, о крестьянском движении, об участвовавших забастовках, о том, что трон колеблется и что страшных последствий воцарившейся смуты никто не в силах предвидеть.

Акакий поднялся с места и стал прощаться.



— Прошу прощения, сударь, — сказал он Авшарову, — но мне пора. Дела...

За ним последовали Дмитрий и еще несколько родственников Ахатнели. Оставшиеся перешли в гостиную, куда гостям подали кофе.

Кето раскрыла рояль и сыграла шумный штраусовский вальс. Авшаров подсел к ней, чтобы выразить свое восхищение.

— Прекрасно! Изумительно! Ну, скажите — разве не интереснее заниматься музыкой, чем корпеть над теорией социализма?

— Откуда вы знаете, что я изучаю теорию социализма, — спросила с изумлением Кето.

— Я обязан знать все. А ваша жизнь представляет для меня особый интерес.

-- Почему?

— Неужели сами не знаете? — И Авшаров шепнул девушке на ухо: — Потому что я не могу жить без вас.

Кето резко отодвинулась от него.

— Прошу вас, больше не заговаривайте со мной об этом!

— Раз вы приказываете... Но разрешите дать вам совет: не посещайте больше занятий кружка, который собирается на квартире вашего кузена Дмитрия.

Кето снова изумленно воззрилась на Авшарова. Он продолжал, улыбаясь:

— Я же вам сказал, что от меня ничего не укроется! Если с вами случится что-нибудь, я...

— Я же просила вас...

— Хорошо, хорошо, больше не буду... Простите меня!.. Кстати, по-моему, я видел здесь вашего брата Нико... Мне известно, что он социал-демократ... Но зачем он так явно меня избегает? Ваш брат по-прежнему живет в Надзаладеви?

— Я не знаю, где он живет.

— Говорят, это очень способный юноша. Мне очень жаль его. В Надзаладеви ему не избежать ареста. Лучше бы жил дома — здесь он скорее будет в безопасности, да и сам не решится ни на какое безрассудство...

— Я могу посоветовать, но он не послушается.

— Скажите вашим родителям — авось, они сумеют его убедить... А вот этот поэт, Шукураули, совсем уж напрасно бежит от меня. Ему пока ничто не угрожает. Пусть себе сочиняет любой бред — все равно, от цензора никуда не денется. Сначала он жил на Авлабаре, потом перебрался на Кобийскую улицу, а теперь ночует в Дидубе. И не лень ему шататься каждый вечер в такую даль?

— Значит, вы все-таки следите за Элизбаром?

— Он сам навлек на себя подозрение. Скажите ему, чтобы не делал глупостей. Пусть живет открыто, ни от кого не прячется, чтобы наши сомнения рассеялись. Иначе, неровен час, угодит в тюрьму — и тогда не так-то просто будет ему доказать свою невиновность.

Ротмистр посмотрел в противоположный угол гостиной, где шла оживленная беседа. Цверадзе, почти не принимавший в ней участия, не сводил завистливого взгляда с жандарма и Кето. Климиашвили внимательно слушал хозяина дома, но и он то и дело поглядывал в эту сторону.

Взгляды Авшарова и Климиашвили скрестились. Поручик тотчас же спасовал перед жандармом и опустил глаза.

— Скажите, как фамилия этого молодого человека? — спросил Авшаров Кето, указывая глазами на Сандро.

— Климиашвили.

— Как, это и есть поручик Климиашвили? — изумился Авшаров.

— Да, это он. Чему вы удивляетесь?

— Теперь мне все ясно!

— А я ничего не понимаю.

— Сейчас поймете, — ответил Авшаров и понизил голос. — Мне известно, что этот молодой человек ухаживает за вами. Правда это или нет?

— Как странно вы со мной разговариваете! — обиделась Кето. — Возьмите уж бумагу и пишите протокол допроса.

— Оставьте это! Я не шучу. Скажем, «ухаживает» не совсем то слово... Но вы нравитесь ему, правда?

— Допустим, что нравлюсь. Что из того?

— А то, что сегодня вы при его содействии спрятали здесь, в этой квартире, Зураба Гургенидзе, — отчеканил Авшаров, устремив в глаза Кето испытующий взгляд. — Спрятали в вашей комнате. Не отрицайте, это бесполезно. Я знаю наверняка. Если угодно, могу даже рассказать в подробностях все, как было.

Колючий озноб пробежал по всему телу Кето.

Бледная и растерянная, сидела она, опустив голову, и мучительно старалась сообразить, откуда Авшаров мог узнать о событиях этого утра. Что ему ответить, как себя вести? Наконец она собралась с силами, взяла себя в руки и взглянула на своего собеседника с вымученной, боязливой улыбкой.

— Вы для этого пришли сюда?.. Да еще с цветами...

Авшаров покраснел до корней волос.

— Даю вам честное слово, нет! Богом клянусь... Нет, поверьте мне, нет! Как раз наоборот — я пришел для того, чтобы предупредить вас. Вы подвергаетесь огромной опасности, и я хочу вас спасти. Слушайте меня, и сами сейчас во всем убедитесь. Из показаний солдат явствует, что Гургенидзе скрывался в вашей комнате, куда они не могли войти, так как их не впустил Климиашвили. Потом взорвалась бомба, и поручик, воспользовавшись этим, увел патруль, не позаботившись обыскать весь дом сверху до низу. У вас живет какой-то старик, ваш бывший повар, которого вы держите из милости. Так вот, этот человек клянется и божится, что сидел все это время в дверях кухни, и не мог бы не заметить, если бы кто-нибудь пробежал через галерею. Следовательно, Гургенидзе не уходил из вашей квартиры, пока в ней делали обыск. Я не спрашиваю вас — в самом ли деле вы спрятали этого человека. Я пришел, чтобы дать вам добрый совет: если вас вызовут и станут допрашивать, ни в коем случае не признавайтесь, иначе погубите и себя, и Климиашвили, и все ваше семейство. Теперь вы видите, что я и сам готов рискнуть головой ради вас! Моя судьба отныне в ваших руках. Вы можете выдать меня, или просто проговориться, что я предупредил вас...

— Нет, нет! Никогда! — прервала его с горячностью Кето. — Я никогда, никому не скажу об этом...

— Климиашвили хотел удружить вам, и поэтому дал Гургенидзе скрыться... Должно быть, и он в вас влюблен так же, как я — оттого и решился нарушить присягу. Теперь моя очередь. Я тоже нарушаю присягу, и мной также движет любовь. И я надеюсь... Да, я живу этой надеждой!.. Пожалейте меня, не томите больше... Не терзайте... — И Авшаров наклонился к девушке так близко, что она почувствовала у себя на шее его дыхание.

Кето сидела словно оглушенная. Самые противоречивые чувства одновременно нахлынули на нее: подозрение переплелось с жалостью, к благодарности примешивалось раскаяние — ведь она только сегодня разорвала портрет этого человека и решила уничтожить, истребить в своей душе даже воспоминание о нем!

«Он меня любит искренне и глубоко — это несомненно, — думала Кетеван. — И он достоин ответной любви. Да я и любила его — почти уже любила... Но этот голубой мундир разлучил нас... Нет, нет, это невозможно! Меня проклянут, меня будут избегать, никто не подаст мне руки! О, боже мой!.. Нет, нет!»

Но это «нет» так и осталось несказанным. Непроизвольным движением Кето схватила Авшарова за аксельбант и проговорила сдавленным голосом, почти прошептала:

— Вы не могли бы избавиться от этого?

Авшаров вздрогнул.

— Понимаю... Вы тоже, как многие, смотрите на меня, как на прокаженного!.. Посмотрим... Я, пожалуй, могу получить должность уездного начальника...

— Разве вам не все равно?

— Почти... Нынче и на уездных начальников охотятся, как на ку-ропатов. Но если бы я мог надеяться... Если бы вы мне дали слово...

— Нет, нет! — вскочив, воскликнула с испугом Кето. — Я не могу... Пока...

Это «пока» пробудило в душе Авшарова самые радужные надежды. Он тоже поднялся и сказал:

— Что ж, подумайте еще.

— Да, да, подумаю! — с готовностью ответила Кето и, чтобы скрыть свое смятение, убежала к себе в комнату.

Авшаров присоединился к группе беседующих. Андро Ахатнели убеждал своих слушателей, что русская армия скоро одержит победу над Японией, царская власть упрочится по-прежнему, и Россия сбросит с себя красный призрак, схвативший ее за горло.

Авшаров не стал вмешиваться в беседу, так как в силу своего служебного положения остерегался разговоров на политические темы с посторонними людьми.

## V

В то лето никто из семейства Ахатнели не выезжал из города. Григола очень тянуло в свою деревню, но крестьяне держались теперь еще враждебнее, чем зимой, и пока что являться туда было опасно. Дмитрий и остальные Ахатнели были прикованы к городу кто личными, кто общественными делами, и поэтому все томились в тяжком тбилисском зное.

В тот вечер Кето вышла из дома одна и постучалась с улицы в окошко к Марте. Ответа не последовало. В комнате было темно. Кето обиделась: Марта обещала взять ее с собой на митинг, но, по-видимому, решила все же пойти одна.

Об этом митинге, который должен был состояться в зале Городской Управы, Кето узнала сегодня утром, и тотчас же побежала к Марте. Марта сделала вид, что ей ничего не известно. Но Кето проявила настойчивость — ей давно уже хотелось побывать на настоящем революционном митинге.

Незадолго до того в артистическом клубе был устроен политический банкет. Акакий, Григол и Дмитрий получили приглашение и взяли с собой Кето. Огромный зал с зеркалом во всю стену был битком набит. На банкет съехались сливки интеллигенции. Ораторы явились в сюртуках и смокингах. Эзоповский язык и елейный тон осторожных выступлений были вполне под стать их прилизанной внешности.

Выступающие требовали в туманных выражениях конституции и местного самоуправления, призывали к скорейшему прекращению войны, осуждали, хотя и без воодушевления, бюрократию и высказывали надежду, что самодержец, вняв их призывам, милостиво дарует народу свободу. Дмитрий в своей речи коснулся вскользь вопроса об автономии Грузии. Акакий потребовал парламента на английский манер, восьмичасового рабочего дня, свободы печати, слова, союзов и забастовок; но зато отказался от автономии и был награжден громом аплодисментов.

После банкета Григол язвительно заметил Акакию:

— Поздравляю! Отвергнув автономию, ты удостоился восторженных похвал: тебе аплодировали и торгаши, и царские чиновники.

Акакий был привычен к подобным колкостям и только улыбнулся в ответ. Вместо него ответил случившийся рядом Нико:

— Ну, это никудышный аргумент. Я сам хлопал Акакию из-за его позиции в вопросе об автономии. Автономия — это переряженный национализм, который может погубить революцию в самом ее истоке. Но не в этом дело. Главное то, что вы, интеллигенты, плететесь в хвосте революционного движения. На сегодняшнем собрании вы только и делали, что расшаркивались и извинялись перед правительством. Рабочий народ изо дня в день, не жалея своей крови, ведет борьбу за свободу, движет вперед революцию, а вы собираетесь в зеркальном зале, напялив фраки и белые перчатки, лепечете что-то о самоуправлении, бюрократии и конституции и выпрашиваете куцые права! Сегодня я не слышал ни одного смелого слова, не видел ни одного мужественного оратора. Никто из выступавших не смог ни на минуту зажечь слушателей, вызвать воодушевление... Слюнтяи вы и недотепы, вот кто!

— Правильно! Совершенно верно! — подхватила Кето.

— Лучше бы нам сегодня вовсе не подниматься на кафедру, — повернулся Нико к Акакию. — Тебя приняли за кадета.

— В чужой монастырь со своим уставом не ходят, — попытался оправдаться Акакий.

— Глупая поговорка — возразил Нико. — Значит, если ты посетишь настоящий монастырь, то наденешь клобук, будешь целовать монахам руки и бормотать «Господи помилуй»?

Кето звонко рассмеялась.

— А если попадет к мусульманам, то покрасит себе ногти хной, наденет тюрбан, возгласит «Ла илла иль алла» и будет есть плов руками, — добавила она. — Ха, ха, ха...

Они пересекли Головинский проспект и стали подниматься по Давидовской улице. Григол был возмущен до глубины души и никак не мог успокоиться.

— Послушайте, — сказал он, остановившись посреди тротуара. — Одного я никак не могу понять и прошу у вас разъяснения. Ведь политические программы марксистов, сололакских денежных мешков и «истинно-русских людей» из Союза Михаила архангела не имеют между собой ничего общего, не правда ли?

— Совершенно верно... Не имеют... — подтвердили трое остальных Ахатнели.

— Так объясните мне, почему вы все — и марксисты, и эсеры, и кадеты, и правительство, и сололакская буржуазия, и Союз русского народа так единодушны в своей враждебности к автономии? Что объединяет вас, марксистов, с вашими заклятыми врагами? Между вами и всеми этими партиями и группами возникло какое-то странное сродство, установилась противоестественная общность направления. Здесь какая-то тайна, и я не в силах ее постичь. Вы утверждаете, что национальный вопрос — это вопрос тактический. Перечисленные мной партии и группы коренным образом расходятся по каждому тактическому вопросу — почему же именно в этом вопросе наблюдается такое трогательное единство? Это — во-первых. А во-вторых, неужели вы считаете восьмичасовой рабочий день принципиальным делом, а судьбу восьмидесяти миллионов нерусского населения империи относите к тактике?

Кето была взволнована не меньше, чем Григол и Димитрий. Споры об автономии не были для нее новостью — она много читала и слышала по этому поводу и не раз высказывалась сама в частной беседе. Но она никак не могла примириться с тем, что «вопрос о жиз-

ни и смерти малых народов задвинут куда-то в дальний угол и прикован к выхолощенной, мертвой формуле».

— Да, да, «самоопределение народов» — всего лишь мертвая формула, уловка для отвода глаз, — продолжал Григол. — Не верите? Не согласны? Ну, так я задам вам один вопрос. Когда революция победит и дело дойдет до пресловутого самоопределения, что вы скажете народу, чего именно посоветуете ему добиваться — самоуправления, автономии, сепарации, черта или дьявола?

У Акакия и Нико всегда имелся наготове ответ на любой вопрос. Но на этот раз нападение оказалось неожиданным, и они нерешительно поглядывали друг на друга. Григол заметил их смущение и усилил натиск:

— Отвечайте! — повторил он. — Что вы тогда скажете? Конкретно — в какую именно форму полагаете вы отлить судьбу малых народов?

Димитрий изумился. Он усердно изучал национальный вопрос, много читал о нем и выслушал сотни различных мнений, но с таким аргументом еще ни разу не встречался. «Непременно использую в статье», — решил он.

— Отвечай же! — поддержал он Григола.

Но Акакий не полез за словом в карман.

— Ты воображаешь, что задал головоломный вопрос? Не беспокойся, мы на нем не споткнемся и шею себе не свернем. Времени будет достаточно — сядем, подумаем и примем такое решение, чтобы никого не обидеть.

— Чистосердечное признание, хвалю! — обрадовался Григол. — Значит, ты подтверждаешь, что национальный вопрос пока еще ждет своего разрешения и будет решен позднее, смотря по обстоятельствам. А следовательно, ваше «самоопределение» — мыльный пузырь, всего лишь прием, которым вы морочите легковверные головы... Но одно мне ясно — вы ухитрились сделать само слово «автономия» ненавистным для массы необразованного народа... Когда придет время, вы не посмеете даже заикнуться о ней. Спасибо, если вы удостоите нас хотя бы самоуправления!

— Сами пожалеют, — вставил Димитрий. — Если победят они, власть просто перейдет из одних рук в другие, а наши господа волею-неволею удовлетворятся ролью земских чиновников.

— Знаем мы, что это за господа! — сердито продолжал Григол. — Они даже Финляндию лишат полученной от Романовых автономии и создадут новую губернию!

Нико громко рассмеялся. Акакий прервал Григола:

— Ты забываешь о генерале Бобрикове, Григол!

— Бобриков и не думает отнимать у Финляндии автономию, он только борется против сепаратистов, — ответил тот. — Да что там... Всеми миру известно, что вы, так же как якобинцы, сторонники самого крайнего централизма. Правду я говорю или нет?

— Один раз случайно сказал правду, — подтвердил Нико.

— Но из этой истины вытекает другая бесспорная истина, — сказал Григол. — Мне легче вообразить горячий лед или темный свет, нежели поверить в благополучное существование и всестороннее развитие малых народов в рамках централистского государства.

— Говорю я — этот человек столько же смыслит в социализме, сколько мой сапог! — воскликнул Нико. — Ставить знак равенства между марксизмом и царизмом! Да это просто неслыханно!

— Молчать, молокосос! Уши оборву! — гаркнул Григол и двинулся к юноше.

Акакий встал между ними.

— Перестаньте! Мы на улице! Что люди подумают?

Григол круто повернулся и пошел направо по Судебной. Вслед за ним убежал, не прощаясь, и Нико — зашагал вниз, к Головинскому проспекту.

— Что за времена! — проворчал Димитрий. — Я и представить себе не могу, чтобы прежде два интеллигентных человека так несдержанно вели себя на людях!

— Ничего не говорите отцу, — сказал Акакий, и беседа на этом окончилась.

\* \* \*

Кето стояла перед окошком Марты и вспоминала, как горячились в тот вечер Григол и Нико. Вспоминала и думала: почему, однако, обманула ее сегодня Марта? Почему не дождалась Кето и ушла одна на этот митинг — настоящий митинг, где будут (так слышала утром Кето) открыто требовать республику и обсудят вопрос об автономии? «Что ж, не пойти ли одной?» — спросила себя девушка и сразу ответила: «Почему бы и нет? Дорогу я знаю. Нужную дверь сумею найти...» Приняв решение, Кето пустилась вниз по крутой улице. Около первой мужской гимназии ей попался извозчик. Она села в фаэтон и приказала:

— На Гановскую!

Через несколько минут экипаж пересек Эриванскую площадь и свернул в узкое ущелье Гановской улицы, но не проехал и десяти саженей и остановился. Кето встала и посмотрела через спину кучера вперед. Улица была сплошь заполнена казаками и полицейскими.

— Что случилось? Почему не пропускаете?

— Сударыня, прошу вас, вернитесь назад.

— Пропустите! Я требую!..

— А я прошу вас вернуться.

Вдруг из соседнего здания донесся до Кето приглушенный грохот ружейного выстрела. За первым последовал второй, за ним третий, четвертый, двадцатый, сотый... Извозчик лихорадочно заработал вожжами и кнутом, повернул назад экипаж и, нахлестывая изо всех сил лошадей, пустил их вскачь к Эриванской площади. На улицу хлынул из здания поток перепуганных, бегущих людей. Они перегоняли, толкали, сбивали с ног друг друга, топтали упавших... Выстрелы звучали теперь громче и ясней, — по-видимому, казаки открыли стрельбу на улице. Фаэтон, в котором сидела Кето, мчался теперь вниз по Пушкинской, к базару.

— Остановите! Дайте сойти! — кричала Кето тоном своенравного ребенка, вцепившись сзади в кучера и тряся его за плечо.

— Вы с ума сошли, барышня! — крикнул ей в ответ извозчик и пустил лошадей галопом.

Кето хотела соскочить с фаэтона, пробраться на Гановскую кружным путем и помочь Марте. «Должно быть, и Нико там, и Леван... Не могу же я покинуть в беде брата и друзей!»

Вдруг фаэтон резко остановился. Кучера выбросило вперед. Кето больно ударилась грудью о козлы, но удержалась на ногах и соскочила на мостовую. Одна из лошадей, раненная в ногу, билась на камнях, тщетно пытаясь подняться.

Кето побежала к тротуару, перескочила через возницу, валявшегося

ничком на мостовой. Она сразу забыла обо всем и, охваченная ужасом, помчалась со всех ног по направлению к рынку. Выстрелы хлопали у нее за спиной, несколько раз где-то совсем близко прожужжала пуля... Поравнявшись с рынком, Кето свернула в переулок, и страх ее рассеялся. Она поднялась кривой улочкой на Головинский проспект, смешалась с редкой толпой, стремившейся в одном направлении, и стала прислушиваться к разговорам. Люди торопились, почти бежали, на ходу расспрашивая друг друга. Однако никто толком не мог сказать, что случилось. Известно было только, что казаки неожиданно открыли стрельбу по собравшимся на митинг безоружным людям и что есть убитые — как мужчины, так и женщины.

Кето стала медленным шагом подниматься по своей улице. У самого дома ее догнал фаэтон. Лошади остановились у подъезда, тяжело дыша. На улице было темно, и Кето не сразу узнала сидевших в экипаже. Но вот один за другим соскочили на тротуар Зураб Гургенидзе и Леван, который тут же шепнул девушке:

— Кето-джан! Марте и Нико сделали легкое кровопускание. Скорей, беги наверх, к Димитрию, предупреди его... И смотри, не пугайся!

— Что случилось?

— Говорю тебе — оба легко ранены. Только смотри — вашим ни слова! Никто не должен знать. Ну-ка, покажи свое мужество, и я запишу тебя в карачохельцы<sup>1</sup>.

Что ж, Кето покажет, на что она способна. Конечно, покажет! Правда, она еще ни разу не видела раненого или убитого человека, но это ничего не значит. Кровь, брызжущую из порезанного пальца или руки, ей часто приходилось видеть, и она не падала в обморок!

Кето проворно взбежала на второй этаж, с силой дернула несколько раз звонок... Потом ворвалась в кабинет к Димитрию и выпалила скороговоркой:

— Мито, они ранены!.. Оба... Скорей, надо им помочь!

— Кто ранен?

— Сказала же я!.. Марта и Нико.

— Где они?

— Там, внизу... В фаэтоне... Скорей!

Она побежала назад. Димитрий следовал за нею по пятам. Марту они встретили уже на лестнице. Тяжело опираясь на плечо Зураба, бережно поддерживавшего ее, девушка медленно поднималась по ступенькам. Лицо ее было мертвенно-бледно, из левой руки, висевшей, как плеть, струилась кровь. Марта слабо улыбнулась и сказала:

— Не пугайтесь... Ничего страшного. Займитесь Нико.

Димитрий хотел спуститься за двоюродным братом, но Гургенидзе решил иначе:

— Вы помогите Марте, а я и Леван доставим наверх Нико.

Мито подхватил Марту, повел ее в свой кабинет, усадил на стул с кожаным сидением, снял с девушки окровавленную блузку и осмотрел рану. Пуля оцарапала ребро, вошла в руку выше локтя и пробила ее насквозь. Врач тщательно исследовал раненую руку, спросив несколько раз:

— Здесь больно? А здесь?

Марта каждый раз отвечала:

— Нет, не больно.

— Ну, значит, легко отделались. Кость не задета. Заживет через две недели — следов не останется.

<sup>1</sup> Карачохельцы (букв. «черные чохы носящие») — горожане старого Тбилиси, ремесленники, отличавшиеся своей удалью.

Между тем Леван и Зураб внесли Нико и положили его на кожаный диван. Юноша имел ужасный вид. И без того худые щеки его глубоко ввалились, в лице не было ни кровинки, рот болезненно кривился. Он негромко стонал.

Димитрий засучил залитую кровью штанину на правой ноге Нико и принялся за осмотр раны. Нико, не выдержав боли, громко вскрикнул. Димитрий изменился в лице: у Нико была раздроблена щиколотка, он мог остаться хромым...

Кето украдкой рассматривала Зураба. Гургенидзе был одет в синюю летнюю рубаху, густые, длинные волосы его растрепались. Чисто выбритое бледное лицо казалось суровым, словно каменным. Густые, взъерошенные брови то и дело грозно сдвигались над переносицей.

Зураб в свою очередь взглянул на Кетеван и, словно только сейчас узнав ее, кивнул с чуть заметной улыбкой.

— И вы там были?

Зураб не ответил.

— Много крови пролилось?

— Столько, что эти изверги не смоют ее всей своей нечистой кровью! Да, да, всей своей кровью! Придет время—они нам за все ответят!

Кето взглянула ему в глаза и почувствовала робость.

Зураб посмотрел на свои залитые кровью руки и поспешно направился к рукомойнику, чтобы их помыть. Время от времени он упрямо встряхивал головой, словно угрожая кому-то.

Димитрий быстро натянул белый халат, послал Левана за хирургом и велел прислуге вытереть пол. Потом поставил около каждого из раненых по эмалированному тазу, достал вату, бинты и спирт и приступил с помощью Кето и Зураба к перевязке, начав с Марты.

До этой минуты Кето почти не замечала крови, едва выделявшейся на красноватом полу, и испытывала только лихорадочное возбуждение. Но сейчас, когда алые капли брызнули на белую эмаль, она почувствовала внезапную слабость.

Кето оглянулась на раненого брата. Приподнявшись на диване, Нико вытягивал шею, чтобы увидеть Марту. Кето встала перед ним, закрыв собой подругу, и посмотрела на Зураба. Гургенидзе поддерживал раненую руку Марты.

У Кето закружилась голова, она тяжело оперлась на плечо Зураба. Но Гургенидзе не почувствовал этого — он был словно заморожен открывшимся перед ним зрелищем.

— Кето, дай спирту... Лей скорей! Что с тобой?

Голос Димитрия донесся до Кето словно из какого-то подземелья. Она выпустила из рук бутылку со спиртом, пошатнулась и повисла на руке вовремя подхватившего ее Зураба.

— Этого только не хватало! — воскликнул Димитрий. — Давайте, Зураб, уложите ее на тахту, расстегните ей платье и потрите мочки ушей... Дайте ей понюхать из этого флакона...

Он протянул Гургенидзе склянку с нашатырным спиртом, а сам опять занялся рукой Марты...

...Кето очнулась в своей постели, и сразу увидела перед собой просиявшие от радости глаза Мариам. Тут же около кровати стояли жена Акакия Тамара и жена Григола Анико. Обе они улыбнулись больной и прошептали с облегчением:

— Слава богу!... Пришла в себя.

Мариам показала глазами на дверь, и они вышли на цыпочках, обернувшись на пороге, чтобы послать на прощание Кето ласковый взгляд.

Мать провела рукой по волосам дочери, поцеловала ее в лоб, шепнула:

— Ни о чем не думай, девочка моя, успокойся и засни. Я буду здесь, около тебя. Не хочешь ли чего-нибудь? Выпей воды с вареньем!

Кето отпила кисло-сладкой воды из стакана и спросила:

— Как они там, мамочка?

— Очень хорошо, дочурка. Оба через две недели будут на ногах.

— Где их поместили?

— Марта—внизу, у себя, а Нико мы решили оставить у Дмитрия. Не беспокойся о них и отгони тревожные мысли. Закрой глаза, моя птичка, и спокойно засни.

— Хорошо, мамочка, постараюсь заснуть.

И Кето смежила веки... Но сон долго не приходил к ней. Мерещились обнаженная грудь Марты и прикованные к ней глаза Зураба. Кето думала: «Где с меня снимали платье — здесь, или внизу? Неужели Зураб видел и мою грудь? Боже мой!.. Ну и пусть! Пусть видел! Что из того, что Марта белее меня?.. Сам Зураб смуглый такой же, как я, и тем не менее и я, и Марта... Да, кажется, и Марта... Господи, какая я глупая! Что у меня общего с этим отчаянным бездомным Гургенидзе, которого не сегодня-завтра схватят и угонят в Сибирь, а нет, так сгноят в тюрьме»...

\* \* \*

На следующий день Кето проснулась поздно. Она сразу вскочила с постели, сунула босые ноги в домашние, вышитые Мартой туфли, растворила окно и подбежала к зеркалу, вделанному в шкаф. Свежий утренний ветерок ворвался в комнату, общарил в ней каждый угол, все перевернул и обнюхал.

Кето спустила до пояса белую ночную сорочку и принялась пристально рассматривать глядевшую на нее из зеркала полуобнаженную девушку. Шея — стройная, в меру полная. Плечи и спина — ровные, гладкие, не худые. Груды — крепкие, упругие. Что же случилось, почему в душу Кето вдруг закрался страх? Да нет, все осталось по-прежнему, и Кето ничего не боится. Она не согласна даже признать Марту соперницей. Кето и Марта — разной породы, вот и все. Когда Марта выйдет замуж, она станет похожа на свою покойную мать — коротконогую толстушку с большим животом и развалистой утиной походкой. А Кето и в старости будет такой, как ее бабушка: в меру полной и в меру высокой, со стройными, длинными ногами, с густыми, черными волосами и этой красивой белой прядью... Возможно, что Марта и станет на короткое время возлюбленной Зураба, его мимолетным развлечением — на это все мужчины падки, ничего с ними не поделаешь. Но Кето, и только Кето, будет его подругой на всю жизнь, его женой, связанной с ним неразрывными узами.

Кстати сказать, если молодые не сумеют сообща свить уютное гнездо, то скоро, очень скоро, оба супруга разлетятся в разные стороны — поминай, как звали! Что может принести в это общее гнездо Зураб? Ровным счетом ничего. А Марта? Несколько вышитых и затканых тряпок, иными словами — тоже ничего. Что же у них вместе получится? Опять ничего...

А Кето... У Кето есть прекрасный дом, доверху набитый добром — мебелью, посудой, бельем... Есть драгоценности, золото, земли... Она введет своего мужа в избранное общество, которое примет его, как родного, продвинет вперед, откроет перед ним все пути...

Такие мысли роились в голове Кето, пока горничная одевала и причесывала ее. В этот день Кето остановила свой выбор на белом

платье, надела самые лучшие свои кольца и украшения. Проглотив чашку горячего шоколада, она напоследок погляделась в карманное зеркальце и побежала вниз, на второй этаж, чтобы навестить раненого брата.

Нико лежал в спальне Димитрия и читал книгу. Увидев сестру, он радостно улыбнулся, схватил ее за руку и усадил к себе на постель.

— Ты одна меня жалеешь, моя Кетино! — сказал он жалобным тоном.

— Почему ты так говоришь, Нико? Разве за тобой плохо смотрят?

— Нет, нет, смотрят очень хорошо... Но и яду при этом не жалеют: дескать, поделом, так тебе и надо, зачем туда совался?

— Почему вы меня не подождали?

— Марта очень торопила меня и Левана. Не хотела брать тебя, боялась, что получится какая-нибудь неприятная история. Так и вышло!

«Боялась, как бы я не встретила Зураба», — подумала Кето и спросила брата:

— Что там было? Как все произошло?

— То-то и обидно, что с нашей стороны ничего не было. Мы не успели даже начать. Как только митинг открылся, кто-то ворвался в зал и потребовал, чтобы мы разошлись. Председатель наотрез отказался, да и мы все, участники, не подчинились. Тогда вдруг вломились казаки и сразу стали в нас стрелять. Зураб крикнул: «Ложись!», и мы все бросились на пол между стульев. Тем, кто попытался убежать, пришлось еще хуже.

— А как сам Зураб спасся?

— Хитростью... Назвался врачом, пробился на улицу и нас вывел с собой... Остальное ты и сама знаешь.

Кето приложила руку к его лбу.

— Однако, у тебя жар. Тебе вредно разговаривать. — и она приподнялась, собираясь уйти.

— Не уходи, сестренка! — снова вцепившись в ее руку, взмолился Нико. — Ты, конечно, увидишь Марту... Передай ей привет, сердечный привет от меня. Марта — редкая, чудесная девушка... Умная, добрая, трудолюбивая, преданная...

— Кому же она предана? Тебе?

Нико взглянул с улыбкой на сестру.

— Общему делу и товарищам.

— Так... Что еще?

— Она такая свежая, здоровая... И хорошенькая...

— Не просто хорошенькая, а красивая, — подтвердила Кето. — Будь я мужчиной, непременно влюбилась бы в нее.

— Выпытываешь?

— Чего мне выпытывать — и так все знаю! Глаза у меня есть — давно все вижу. От меня не скроешь!

— Ну, раз ты и сама знаешь...

— Говори прямо, чего таишься? — подбодрила юношу Кето. — Если любишь ее, я тебе помогу. Но она-то знает? Ты дал ей почувствовать? Объяснился? Что она ответила?

Нико сел на постели. В глазах у него блеснули слезы, голос задрожал.

— Так помоги мне, Кето, и требуй взамен любой службы! Я все для тебя сделаю. Стану твоим рабом... Я люблю Марту, люблю до безумия. Совсем голову потерял — ни спать, ни есть не могу. Не раз я давал ей понять... В конце концов признался, сказал все напрямик...

— Что же она ответила?

— Боится, не верит мне. Мы с тобой, дескать, не пара; сейчас с рабочими все заигрывают, а потом ты вернешься к своим, а я останусь покинутой...

— А ты не обещал ей жениться?

— Конечно, но и это не помогло. Она говорит: может быть, ты и не разойдешься со мной, но разлюбишь, а с меня и этого достаточно.

— Не любит ли она кого-нибудь другого?

— Ничего такого я не замечал. Да и кого она могла бы любить?

— Откуда я знаю? Мало ли кого! — помолчав, Кето добавила. — Может быть, ей нравится Зураб?

Нико откинулся на подушки, задумался. Потом проговорил безнадежным тоном:

— Не знаю, ничего не знаю. Видятся они редко. Всегда очень сдержаны друг с другом. Я ничего не замечал.

— Ну это, пожалуй, мне легче узнать. Словом, мы с тобой заключаем союз. Надеюсь, если мне понадобится твоя помощь, ты тоже мне не откажешь.

— Говорю тебе — требуй от меня любой услуги!

— Марте я скажу, чтобы она каждый день тебя навещала. А ты... Ты должен быть настоящим мужчиной — сильным, смелым! Мы, женщины, не любим слюнтяев. Посмотри на себя — на кого ты похож? Одевайся аккуратней, следи за своей внешностью. Я позову парикмахера — побрейся и постриги волосы. Ну, до свидания, поправляйся. Да, кстати, чуть не забыла... Хотела спросить маму, да не успела. Вчера, когда я упала в обморок, с меня не снимали здесь платья?

— Нет, не снимали, а только расстегнули ворот.

— Кто меня приводил в чувство?

— Зураб. Долго он с тобой возился, но ты так и не очнулась. Почему ты спрашиваешь?

— Так, просто. Ну, будь молодцом, и пусть исполнятся твои желания.

\* \* \*

Зураб Гургенидзе проскользнул, как тень, через двор Ахатнели и вошел в квартиру Довлаташвили. Он знал, что Марта дома одна, и сразу прошел в ее комнату. Девушка сидела у стола, вся в бинтах, и пыталась делать одной рукой какую-то несложную работу. Когда за спиной у нее отворилась дверь, она поднялась, но Зураб, со словами: «Не надо, не вставай!» — обнял ее за плечи и силой усадил на место; потом сел рядом и заботливо спросил:

— Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо.

— Болит рука? Жар есть?

— Нет, не болит, и жара нет. Сегодня Дмитрий менял мне повязку и сказал, что все идет как следует. Велел только не двигать рукой и не волноваться.

— Для меня-то хуже ничего не может быть, — сказал Зураб печально.

— Почему?

— Выходит, что я не должен обнимать и целовать тебя... Чтобы ты не волновалась.

Марта зарделась и, помолчав, подставила Зурабу свое улыбающееся лицо.

— Я могу держать себя в руках и оставаться спокойной.

— Вот это прекрасно! — Поцелуй их длился до тех пор, пока у обоих не перехватило дыхание.

Наконец девушка отстранила руку Зураба, отодвинулась от него. Лицо ее пылало.

— Хватит, — сказала она. — Это вредно нам обоим. Расскажи, что нового стало известно о вчерашнем избиении.

Зураб заложил по своему обыкновению руки в карманы и стал задумчиво расхаживая по комнате, рассказывать, как бы разговаривая сам с собой.

— Говорят, убито тридцать человек и ранено около сотни. Когда придет время, мы расплатимся по счету. Эти негодяи еще будут проклинать день своего рождения! Если бы у нас было вчера оружие! Тогда они могли бы хоть сказать, что одержали победу в бою. Трусы, убийцы! Палачи! Да, да, жалкие трусы! Напали на безоружных людей, расстреливали женщин! Говорю тебе — эта подлость дорого им обойдется!

— Нет ли убитых и раненых среди наших близких товарищей?

— Пока не знаю. Часа через два буду знать, — ответил Зураб и заботливо посмотрел на Марту. — Как ты побледнела! Ну, вот и разволновалась! Хватит об этих кровавых делах.

— Где ты ночевал вчера?

— У Раждена.

— Какой это Ражден?

— Наборщик. Его и Тедо освободили вчера утром. Мне удалось это устроить. Тедо рассказал, как его арестовали. Оказывается, Акакий легко мог его вызволить, но не захотел вмешаться. Что ж, запишем и это ему в счет. Этот человек ни за что не хочет уняться и попрежнему называет нас провокаторами! Говорят, огорчился, узнав о моем побеге, — сказал, что я интриган и снова затею грызню и раздоры. Это, впрочем, меня не удивляет — я давно раскусил Акакня Ахатнели! Месяца два тому назад он попытался отвести мне глаза и прислал через Нико уверения в своем уважении и любви. Но меня не так просто обмануть! Я их всех вижу насквозь. Вчера вечером я столкнулся с этой лисицей на улице. И подумай — он чуть было не полез обниматься, прямо-таки задушил меня своими любезностями. Более наивный человек мог бы попасться на удочку! Нет уж, таким друзьям, как Акакий, я предпочитаю открытых врагов!

— Как ты добился освобождения Тедо и Раждена?

— С помощью все той же старой княгини Амилахвари. Она узнала, что Авшаров сватается к Кето, и придумала хитрый ход: поехала к нему вместе с Мариам Ахатнели. Вдвоем они уломали Авшарова в несколько минут. К сожалению, почтенная вдова Амилахвари на днях уезжает в Петербург... Нам ее никто не заменит...

— Почему же? Мало ли на свете князей и княгинь?

— Конечно, немало, — ответил Зураб. — Но одни — ничтожные, пустые люди, а к другим трудно дорожку проложить. — Он остановился посреди комнаты, подумал и сказал, понизив голос: — Вот Мариам Ахатнели могла бы принести нам большую пользу, если бы...

— Если бы Кето выдали замуж за Авшарова, — закончила вместе с ней Марта.

— А что, выдадут ее или нет?

— Родители мечтают об этом, но братья и слышать не хотят.

— А сама Кето? Чего она-то хочет?

— Кето колеблется. Ее тянет к нам. Все твердит, что хочет участвовать в борьбе за свободу. Только не ее это дело! Опалит себе крылышки, как бабочка в огне.

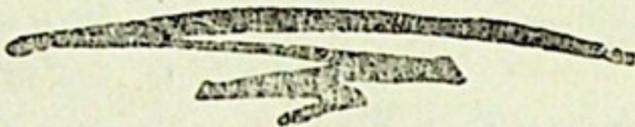
— А что, если мы впустим ее наполовину? Что в этом плохого?

Их взгляды скрестились. Они долго испытующе смотрели друг на друга. Марта опустила голову.

— Возможно, что она и послужит нам... А может, наоборот, Авшаров использует ее против нас. В конце концов, кто женщине ближе, чем ее муж? А мы для Кето...

— Понимаю! — прервал ее Зураб. — Ты умная девушка, Марта, за это я так сильно тебя и люблю! А все же, если ты имеешь влияние на Кето, попробуй расположить ее в пользу Авшарова. Пусть сначала выйдет замуж — а там будет видно. Постой, кажется, кто-то идет.

Продолжение следует



В. Марганидзе

## ЛЮДИ И КОРАБЛИ

О Ч Е Р К

В нашем городе все улицы ведут к морю, все деревья зеленеют круглый год, и все мальчишки мечтают стать мореплавателями.

Дома в нашем городе — большие и маленькие, старые и новые. Старые разрушают, новые строят.

Деревья — как деревья, только называются они необычно — как корабли, приходящие из далеких стран:

Мальчишки... Ну, что сказать о мальчишках?.. Они такие же, как во всех городах, — озорные, горластые, неугомонные. Они как-то незаметно подрастают (черт возьми, как быстро летит время!), оканчивают школы, институты и становятся (вот неожиданность!) серьезными, взрослыми людьми.

Берег моря у нас усыпан мелкими камешками. Старые люди, живущие в нашем городе (их каждый вечер можно увидеть в кофейнях), с гордостью утверждают, что именно этими камешками набивал себе рот Демосфен, упражняясь в ораторском искусстве (не будем спорить со стариками!).

Молодые романтики, живущие в

нашем городе (их каждый вечер можно увидеть на берегу моря), утверждают, что именно наш город описал Грин под вымышленным названием — Гель-Гью (не будем спорить с молодыми романтиками!).

Моряки всех стран знают, что наш город называется Батуми.

В нашем городе вам могут рассказать много необычайных историй, иной раз — почудеснее тех, что выдумывал Грин, но сегодня мне хочется рассказать вам о людях и кораблях, о мальчишках, которые не стали мореплавателями, и о кораблях, которые не пришли из далеких стран.

...Платон Джорбенадзе родился далеко от моря — в селе Чибати Ланчхутского района. Как и многие из нас, он полюбил море по книгам. Шестнадцатилетний парень приехал в Батуми и поступил в морской техникум. Он был уже комсомольцем и знал, что мечты хороши тогда, когда им сопутствуют упорный труд и настойчивость в достижении цели. Корабль с алыми парусами не придет, сколько не жди, если ты сам не сотворишь его.

Прошло четыре года. Морской техникум окончен. И только теперь Платон понял, как много надо знать еще, чтобы сделать хотя бы половину того, что задумал. Он поступает в Одесский институт инженеров морского флота на судостроительный факультет. Еще пять лет упорной учебы. Вот теперь он многое знает и многое может. Теперь он будет строить корабли.

21 июня 1941 года Платону Джорбенадзе вручили диплом инженера-судостроителя и назначение на Балтийский судостроительный завод.

А на рассвете следующего дня в жизнь ворвалась война. Гитлеровцы бомбили Одессу. В тот день Платон ушел на фронт.

В первые же дни войны Платон понял, что ему снова надо учиться. На этот раз — науке побеждать. И вот он — курсант Севастопольского военно-морского училища имени ЛКСМ Украины. Учиться пришлось недолго. Фашисты наступали на Крым. И экзамен пришлось держать на поле боя. Из курсантов училища был создан специальный батальон — все солдаты с высшим образованием! Прибыли в Бахчисарай и сразу вступили в бой.

Комсомолец Платон Джорбенадзе командовал пулеметным взводом. Хорошо ли он воевал? Медаль «За отвагу» даром не дается.

Теперь, спустя много лет, трудно восстановить в памяти все, что было сделано, пережито, передумано. Был прорыв из окружения, были бои на Мекензиевых Горах в обороне Севастополя, было тяжелое ранение. На крейсере «Красный Крым» раненых вывезли из Севастополя и долго возили по Черному морю, потому что ни в одном порту не могли принять их. Ну, не стоит обо всем вспоминать. Туапсе, потом Кисловодск, потом Тбилиси. В госпитале чуть не ампутировали ногу. Но все обошлось благополучно. В начале 1944 года Платон Джорбенадзе на костылях вышел из госпиталя.

Что теперь? Воевать он не может. Строить корабли еще не стало время. Платон поехал в родное село к своим старикам — долечиться, окрепнуть. В родных местах

вспомнилось детство, вспомнилась юность... Здесь он впервые узнал радость открытия мира, прочел первую строку в «Дедаэна», здесь он вступил в комсомол, здесь родилась его мечта о море и кораблях.

Не думал Платон, что ему снова придется учиться — и чему? — самому простому и, оказывается, самому трудному — твердо стоять на ногах, ходить без костылей.

Война уже окончилась, а Платон все еще учился ходить. Страна залечивала раны. Ей нужно было много новых домов, заводов, машин, кораблей. Платон не мог ждать. Еще чувствуя боль в ноге, он отбросил костыли и поехал в Батуми. Надо, наконец, приступить к делу. Был ноябрь 1945 года.

С этого дня биография человека тесно сплетается с биографией завода, и, чтобы вы лучше узнали человека, я должен сказать несколько слов о заводе.

В 1916 году здесь были полукустарные мастерские Батумского порта. Делали мелкий ремонт скудного портового флота. В 1943 году мастерские реорганизовали в судоремонтный завод. Когда Джорбенадзе начал работать здесь мастером корпусного цеха, завод ремонтировал суда на плаву. Работа нужная, но хотелось большего. Хотелось строить корабли. Об этом все упорнее поговаривали в коллективе, этого все настойчивее требовала жизнь.

Наконец в 1948 году было положено начало судостроению — стали выпускать небольшие металлические сухогрузные баржи.

Завод рос. Здесь, на заводе, Платон Джорбенадзе учился тому, чему нельзя научиться ни в каком институте — умению организовать работу, правильно расставить людей, максимально используя способности каждого, умению зажечь в людях трудовой энтузиазм, воодушевить их на преодоление трудностей.

Молодой коммунист Платон Джорбенадзе каждый день держал самый трудный экзамен в жизни — перед рабочим коллективом, перед самим собой.

Заводской коллектив помогал ему брать одну высоту за другой. Сперва он мастер корпусного цеха, затем прораб по ремонту судов, на-

чальник механического цеха, начальник корпусного цеха, главный инженер и наконец в 1950 году — директор завода.

Это очень хорошо, когда директор приходит не вдруг, а воспитан самим коллективом. Такой знает каждого рабочего — еще вчера работали рядом, — знает, кто на что способен, такой — многое может сделать!

В 1951 году завод приступил к постройке первого пассажирского катера. Строили его долго. Почти целый год. Когда первенец батумских судостроителей был торжественно спущен на воду, Платона Джорбенадзе направили в Ленинград, в Академию морского и речного флота на учебу.

Как, опять учиться?... Да, учиться было чему. За несколько лет техника сделала гигантский шаг вперед. В институте их учили клепаным конструкциям, а сейчас надо было осваивать новый, совершенный метод автоматической и полуавтоматической сварки академика Патона. Этот метод в корне менял технологию судостроения. Менялись принципы проектирования, конструктивные элементы, архитектура судна. Не будет преувеличением сказать, что замена клепанных конструкций электросваркой равносильна переходу от деревянных кораблей к металлическим.

Через два года Платон Джорбенадзе вернулся на родной завод. За это время здесь выпустили много катеров типа «Сочинец». Коллектив накопил опыт, набрался сноровки. Теперь можно было целиком переключиться на судостроение.

Коллектив завода доказал, что он в состоянии специализироваться на мелком судостроении и намного увеличить выпуск продукции без особых капитальных затрат. Министерство морского флота СССР приняло разработанный коллективом завода план специализации, и в сентябре 1957 года Батумский судоремонтный завод был переименован в судостроительный.

Судостроители... Гордое слово! А в Грузии это слово звучит особенно торжественно, потому что не было у нас до сих пор судостроитель-

ной промышленности, а теперь — есть!

Батумские судостроители каждый год спускают на воду все новые и новые виды судов. За катером типа «Магнолия» появился еще более комфортабельный и мощный катер типа «Аркадия» на 120 пассажиров. Освоен серийный выпуск глиссеров «Б-1» («Батуми-1»). Этими великолепными грузинскими глиссерами восхищаются на Балтике и на Каспии, на Дунае и на Волге, на Енисее и на Тихом океане.

...Вы помните «Бегущую по волнам» — парусную шхуну, описанную Грином? Время парусных кораблей миновало. Но не миновало и никогда не минует время морской романтики, время созидания все более быстроходных кораблей.

И батумские судостроители, самые молодые в нашей стране, как и подобает молодым, живут творческими дерзаниями, непрестанными поисками нового, лучшего. Подхватив идею горьковских судостроителей, они построили первый в нашей стране морской катер на подводных крыльях.

Не угнаться «Бегущей по волнам» за этим чудесным катером! Он не бежит, он летит над водой, опираясь на три стальных крыла, легко скользящих по воде, свободно преодолевая сопротивление и не образуя волн. Его скорость — 62 километра в час.

И таких катеров батумские судостроители построили не один и не два. Уже освоен их серийный выпуск. Уже можно их увидеть на Балтике и на Байкале.

В 1960 году батумские судостроители вышли на первомайскую демонстрацию с макетом в натуральную величину совершенно необычного судна — с пропеллером в кормовой части, на двух больших лыжах, образуемых обтекаемым корпусом. Это — глиссер-аэросани, который справедливее было бы назвать вездеходом, потому что он будет одинаково быстро (до 75 километров в час) мчаться по воде, по снегу и по льду. Для чего такой вездеход? На Крайнем Севере, например, он очень нужен для оказания медицинской помощи, доставки почты и для многих других полезных дел.

Пусть и за Полярным кругом радуют людей маленькие кораблики грузинских судостроителей!

Батумские судостроители уже сейчас подумывают над тем, чтобы делать большие пассажирские катера из пластмассы, разрабатывают конструкцию глиссера с алюминиевым корпусом и на подводных крыльях — вы представляете, какие это будут легкие и быстрые корабли!

Строить такие корабли надо будет совсем по-новому. Тут не поможет и патоновская сварка. По сути, корабли будут не строиться, а вы-

клеиваться из стеклоткани по специальным формам.

Это — совершенно новое дело. Поэтому нужна и новая квалификация судостроителей — какой еще не бывало.

Значит — опять Платону Джорбенадзе надо учиться.

Что ж, сборы не долги! Вместе с группой рабочих и инженеров завода он поедет в Москву за новыми знаниями, за новым опытом.

Это же замечательно — на протяжении одной человеческой жизни столько узнать, столько сделать!



## П И С Ь М А

### Н. К. Крупской и А. В. Луначарского

В личном архиве академика Г. В. Хачапуридзе мною обнаружены оригиналы писем Надежды Константиновны Крупской и первого народного комиссара просвещения РСФСР Анатолия Васильевича Луначарского.

Эти письма адресованы Г. В. Хачапуридзе, который после установления Советской власти в Грузии возглавлял Главполитпросвет.

Письмо Н. К. Крупской — документ большой политической важности, еще раз свидетельствующий о ее огромных заслугах в развитии политпросветработы в нашей стране.

Письмо Надежды Константиновны — автограф. Но оно, к сожалению, не датировано. Его внимательное изучение, однако, позволяет предположить, что оно написано в 1921 году. Это подтверждается словами письма об «ослаблении» гражданской войны.

Письмо А. В. Луначарского адресовано коллективу революционного художественного театра в Тбилиси, организатором которого был Г. В. Хачапуридзе. Свой новый сезон театр, существовавший в 1921—1922 годах, начал 7 ноября 1921 года в четвертую годовщину Великого Октября.

Письмо А. В. Луначарского перепечатано на машинке, исправлено и подписано автором.

Публикуемые ниже письма Н. К. Крупской и А. В. Луначарского окажут, думается, помощь в изучении истории культурного строительства в первые годы Советской власти в Грузии.

З. Л. ШВЕЛИДЗЕ,

доцент кафедры истории народов СССР  
Тбилисского государственного университета  
имени Сталина.

ПИСЬМО Н. К. КРУПСКОЙ  
Г. В. ХАЧАПУРИДЗЕ



Тов. Хачапуридзе,  
получила Ваше письмо и материалы, посланные с тов. Игнатовым. Спасибо за доброе отношение.

Прилагаю письма в Ц. К. С. С. Р. Г. и в Наркомпрос.

Сейчас мы, главполитпросветчики, переживаем довольно трудное время. На местах переход к новой экономической политике толкуется вкривь и вкось. Все экономят, стараются раздобыть деньги, но экономят не так, как надо, и добывают деньги не теми средствами, какими нужно.

Мы выдвинули такие положения: рационализировать нашу работу, углубить ее, укрепить связь с населением, пропагандировать в населении важность политпросветработы, еще шире втянуть его в эту работу и постепенно перевести учреждения массового характера на местные средства.

Рационализировать нашу работу мы считаем нужным вот в каком отношении. Надо определить относительно каждого вида работы, насколько она нужна для данного момента, для данного слоя населения. Выдвинуть на первый план те формы работы, которые имеют особое значение для культурного и политического развития народа. Пересмотреть все учреждения с точки зрения их жизненности, их близости к населению. Сократить штаты, сделав работу оставшихся гораздо более напряженной, интенсивной. Децентрализовать то, что можно децентрализовать без ущерба для политической стороны дела, разгрузиться благодаря такой децентрализации от массы мелких хозяйственных дел, которые последнее время поглощают так много сил и не давали возможности сосредоточиться на главном.

Главное — это углубление работы, поднятие ее в методическом отношении на должную высоту. Вместо 10 школ грамоты, где на каждого учителя приходилось по 5 учеников, которых он в конце концов почти ничему не научал, — устроим две или даже одну школу с большим числом учеников, но с хорошо подготовленным учителем, аккуратно посещающим занятия, выучивающим грамоте гораздо лучше, чем прежние 10 учителей, вместе взятые, и так во всем. Невозможность кидать деньги направо и налево научит нас использовать имеющиеся суммы наиболее разумно. Надо также свести до минимума дорогостоящие виды политпросветработы и каждый раз обсуждать, стоит ли делать эту затрату не с точки зрения экономической доходности, а политпросветцелесообразности.

Насчет связи с населением мы с самого начала, как Вы знаете, выдвигали этот вопрос, подчеркивая необходимость создания организованных форм постоянной связи отделов с населением.

Гражданская война с ее потребностью в агитации отодвинула этот вопрос на задний план, но с прекращением, с ослаблением гражданской войны этот вопрос вновь встал на очередь. На него надо обратить теперь сугубое внимание. Необходимость брать деньги на политпросветработу с населения особенно сильно подчеркивает эту сторону дела.

Исключительно агитационный характер работы должен смениться более углубленным; у нас голую агитацию уже не слушают. И самая агитация у нас принимает характер пропаганды, ориентирующейся лишь в большей мере на задачи момента.

Я так расписалась, что у меня не осталось времени написать в Наркомпрос.

Передайте им привет и прочитайте деловую часть письма.

С коммунистическим приветом  
Н. К. Ульянова-Крупская.

## ПИСЬМО А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

В Революционный Художественный театр  
в Тифлисе.

Дорогие друзья!

Василий Васильевич Игнатов передал мне известие о Вашем театре и дал ему чрезвычайно высокую оценку. Мне очень приятно было узнать, что в небольшой семье новых революционных театров в советских республиках, а отчасти и за пределами их, появился Ваш театр, по-видимому, сразу достигший успехов. Я далеко не обо всех революционных театрах имею сведения. В Москве, кроме театра Пролеткульта, труппа которого отличается поразительным рвением и преданностью делу при трудных, к сожалению, экономических условиях, которые нам пока, к сожалению, не удастся улучшить, достигла некоторых для всех заметных технических результатов. Труппа развернулась в очень интересную свежую артистическую силу, но, как мне кажется, Московский театр Центрального Комитета Пролеткульта не нашел еще достаточно твердого пути. Конечно, колебаться, а в особенности искать, очень хорошо, но сама амплитуда колебаний немножко слишком широка. Другой театр этого типа в Москве Теревсат представляет собою почти агитационный театр. Некоторые поставленные им вместе с кинематографом агитационные пьесы производят сильное впечатление на близкие

нам массы. Не могу все-таки сказать, чтоб Теревсат достиг той степени художественности, какая была бы в этом отношении желательна, до стояния образцового театра ему очень далеко. Чрезвычайно приятным явлением считаю я театр Карла Маркса в Саратове и очень боюсь сейчас, чтобы этот театр не потерпел бы какого-нибудь ущерба от голода, ударившего эту губернию. Там я видел едва ли не лучшие по свежести и по силе постановки. Правда, труппа его так же, как и в Теревсате только отчасти состоит из рабочих, а большею частью из профессионалов, но профессионалов убежденных, революционных, а такой элемент я никогда не считал и не буду считать вредным. Я имею также сведения о берлинском рабочем театре, пока единственном за границей. В репертуаре берлинского театра есть несколько очень хороших пьес. Некоторые из них пойдут в скором времени на русском языке. Я думаю, что Ваш театр воспользуется такой интересной пьесой, как «Принц Хаген» американского писателя и нашего доброжелателя Э. Синклера. Мне совсем незнакомо теперешнее состояние театра в Петербурге и нескольких провинциальных театров типа, близкого к рабочим. В драматургии нашей имеются, по моему мнению, некоторые интересные новости. К таким я отношу пьесу Васильченко «Две сестры», не представляющую из себя художественной постановки, но очень сильно действующую в смысле агитации, и пьеса Рейснера «Бог и Биржа». Эта пьеса переводится на иностранные языки, и берлинский театр хочет ставить ее. Мне очень интересно было узнать, и я считаю для себя очень важным, что Ваш театр поставил мою пьесу «Василиса Премудрая». Возможно, что я скоро приеду в Грузию и, может быть, сам увижу, что Вы смогли сделать из нее. Писал я ее собственно не для сцены, и мне говорили многие, что на сцене она поставлена быть не может. Только Горький очень усиленно настаивал на ее постановке. Сейчас, между прочим, заканчивается перевод ее на английский язык. Все это, конечно, мне очень интересно и особенно интересно посмотреть пьесу в исполнении свежей труппы, стоящей на одной со мной художественной платформе, как охарактеризовал Вас Василий Васильевич. Желая Вам всяческого успеха на пути, на который Вы вступили, и буду очень счастлив повидаться с Вами в этом году, если поездка моя в Грузию состоится. Особый привет посылаю тов. Хачапуридзе, как инициатору и организатору этого театра.

Нарком по Просвещению — А. Луначарский.



Ю. Суровцев

Моя

грузинская

ПОЭЗИЯ

Вспоминаются два разговора, которые произошли в разное время в двух поездах, мчавшихся по разным маршрутам. Общим было только то, что в обоих случаях моими спутниками оказались журналисты: в первом — эстонский, во втором — украинский.

Я тогда только начинал работать, как говорят, на «ниве братских литератур», и эстонская для меня была почти полностью покрыта туманом неизвестности.

Журналист-эстонец, разговорившись и оживившись настолько, что мне пришлось пересмотреть традиционное представление об эстонском национальном характере, как замкнутом и неразговорчивом, — стал вдруг читать стихи (и тут же вслух делать подстрочный перевод) Койдулы, Смуула, Вааранди<sup>1</sup>.

По мере того, как я слушал то нежные, то бурно-пафосные строки, те самые традиционные представления окончательно рассеивались, а стремление узнать получше бога-

тейшую эстонскую литературу укрепилось еще больше. Меня потрясла влюбленность журналиста в свою поэзию, его полная отдачность ей, наполненность ею...

«Обычный» читатель, который интересуется только своей литературой, ну, да еще модными новинками западной литературы, — во многом обкрадывает себя, сужает себе сферу познания, понимания окружающей его жизни, сферу своего эстетического кругозора.

Теперь я говорю это с полнейшей убежденностью, потому что (пусть крайне мало, но все-таки) зачерпнул из моря многонациональной советской литературы.

Теперь мне жалко того «обычного» читателя, который не знает романтической красоты книг украинцев Яновского, Довженко, Стельмаха, ясноты точности Киачели, пламенного пафоса и «игры мысли» в стихах Чаренца, пронизательности и юмора «Ледовой книги» Смуула... и т. д. и т. д.

Мне было искренне жаль (я перехожу ко второму случаю, ко второй беседе, происшедшей на этот раз в поезде Киев—Москва) и моего киевского друга-журналиста, ког-

<sup>1</sup> Лидия Койдула — поэтесса, классик эстонской поэзии; Юхан Смуула и Дебора Вааранди — современные эстонские писатели.



поэзия — есть факт сознания человека, его внутреннего существа, и какими иногда неожиданными средствами проявляется в человеке потребность приобщиться к миру иной, не своей поэзии, чтобы отыскать там близкое себе!

К вопросу о связи литературы с жизнью можно подходить по-разному. И с точки зрения большой политической задачи... И с точки зрения эстетической теории... Читатель подходит «проще» — он читает книги, и если его сознание вбирает в себя прочитанное, заставляет думать, учиться, стараться быть лучше и выше — значит, эта книга, действительно, жизненна.

Мы часто даже не замечаем, не отмечаем специально, как литература пронизывает наше сознание, строит наш внутренний мир, выражает наши мысли и настроение. Это случается порой в самых простых, обыденных вещах.

...Вы долго не были в Москве. «Соскучились?» «Да, соскучился», — отвечаете вы автоматически, не думая о том, что ни это истертое слово, ни добренькая песенка по вагонному радио, ни подхриповатый голос проводника: «Граждане, поезд номер такой приближается...», конечно, не передают всего того, что у нас сейчас на душе. И, может быть, вы не произносите вслух (это было бы претенциозно), не повторяете про себя, но в душе вашей живут и согревают ее строки —

Как часто в горестной разлуке,  
В моей блуждающей судьбе,  
Москва, я думал о тебе.

...Мы были однажды в холмистых окрестностях Тбилиси. Наступал вечер. Золотые краски солнечного освещения тускнели; на полотне одноцветного заката становились все гуще и шире темно-красные лучи — предвестники умирающего солнца. И глядя на эту картину, я вдруг поймал себя на мысли, что беззвучно шепчу пушкинское: «На холмах Грузии лежит ночная мгла», — хотя не было пока этой мглы, она еще только шла по небу, отодвигая солнце, и это ее движение с математической точностью отражалось на земле — на терявших свою зелень, гаснущих, быстро черневших холмах. Было в этой поэтической фразе что-

то такое, что передавало настроение не только ночи, но и вечера — этого пролога к ночи.

Потом я прочитал превосходный рассказ Тихонова «Цхнетские вечера», где нашел новое прекрасное выражение того, что почувствовал там, «на холмах Грузии». И сколько бы раз я не видел теперь закат в окрестностях грузинского города, я всегда буду переживать его так, как научил меня этот тихоновский рассказ.

...А в другой раз, ранним-ранним утром, на тбилисской улице, я следил за борьбой ночных облаков и первых лучей солнца, и в душе моей звенели строки стихотворения А. Шенгелиа, которое я очень люблю и тоже знаю наизусть — из того немногого, что я знаю наизусть, и что не специально заучивается, а запоминается как-то само собой, даже исчезает из памяти, чтобы вдруг, «к случаю» вспомниться:

Просыпайся, внемли и смотри —  
Заскрипели ворота зари,  
Скачут белые кони рассвета.  
Через черную ночь, на рысях,  
Белогривый несется косяк,  
Слышен топот над звездами где-то.

Свет в окошке бессонном потух,  
Проболтался об утре петух,  
Горы ожили в утреннем гуле,  
Все прозрачнее даль, все ясней...  
Кони черные белых коней  
Грудью в пропасть с обрыва столкнули.

...И наконец дневной летний Тбилиси, который гудит, как улей, поражает игрой солнечных бликов, если смотреть на него с Мтацминда, — огромная, выгнутая чаша, полная домов, вышек, парков, излучин Куры, полная... Впрочем, и тут вместо бестолковой собственной «прозы», неточно выражающей твоё приподнятое душевное состояние, нужна поэзия, своей прекрасной «неточностью» полно и сильно говорящая за тебя строчками Леонидзе:

Ты плодов на блюде гряда,  
Золотой Тбилиси мой.  
Солнце гладит это блюдо  
Золотою бахромой.

...И как же чудесно сплавляются вместе в душе того, кто с открытыми глазами и восприимчивым сердцем проехал (пусть только проехал) вдоль ЗАГЭСа и Джвари, — сплавляются лермонтовские строки о двух

обнявшихся сестрах, «струях Арагвы и Кúры», со всем тем прекрасным, что написано грузинской советской поэзией о первенце электрификации республики, с бронзовым Лениным впереди, и древнем монастыре, вонзившемся в небо на гениально угаданном зодчим месте на скале, — монастыре, который не враждебно противостоит теперь новой Грузии, а вместе с электростанцией как бы символизирует связь великого прошлого и еще более великого настоящего...

\* \* \*

Почему же факты грузинской поэзии в сознании и настроении человека иной национальности могут стать рядом со строками и строфами его «собственных» поэтов? Я пытаюсь разобраться в своих ощущениях. Именно в ощущениях, не пытаюсь отвечать литературоведчески, эстетически, ибо (повторяю) пишу не собственно-критическую статью.

Общность содержания — это, конечно, главное. Но и не только это. Мне кажется, что дело еще — в удивительной откровенности, душевной раскрытости грузинской лирики.

В этом смысле мой самый любимый грузинский поэт и один из самых душевно близких современных поэтов вообще — Ираклий Абашидзе. Я не могу сказать о громкой силе его голоса или о том, что, открывая людям свою душу, он дарит им какие-то необыкновенные, золотые россыпи: золото — металл весьма редкий. Но мы находим в этой открытой нам душе все то свое, что радует, тревожит нас самих. Мы не поражены величию или особой, недоступной нам глубиной услышанного. Но уста поэта сказали нам то, что мы сами думали (да вот не смогли!) сказать, и сказали так, что «умри, Аркашка, лучше не скажешь», — просто, открыто, без каких-то там поэтических или любых иных сдерживающих условностей.

Мне очень нравится стихотворение И. Абашидзе «Отец»: и боль за слепого отца, и неизбывная тяжесть от сознания невозвратимости ушедшего дорогого человека, и не застланный этой болью взгляд сына-поэта, именно поэта, умеющего

схватить и не выпустить из своей памяти «картину» (вот он сидит, отец, сутулясь, под крышей родного дома; вот идет по тропинке, «бамбуковой палкой прорубая на ощупь дорогу себе»), и наконец неожиданно страстная, словно стыдящаяся своего молодого (несмотря ни на что!) жизнелюбия концовка: отец умер, так и не увидев мира, из которого он уходит, —

Ну а мне, что же делать мне,  
если я, зрячий,  
В оба глаза на мир уносно смотрю.

Стихотворение было бы превосходным и без этой концовки. Но как сильно действует именно эта откровенность до конца, какой новый и очень важный «блик» кладет она на все произведение, делая его не только вместилищем лирической боли, но и ареной противоборствующих начал: печали и радости жизнеутверждения.

Сердце поэта-лирика должно быть раскрыто радостям и тревогам мира, — говорим мы, утверждая высокий и только тогда и плодотворный образ лирического героя, «эха мира, а не только няни своей души». Но поступая так (и поступая совершенно правильно!), не будем забывать и того, что сердце поэта должно быть раскрыто миру, истинно раскрыто, не приотворено, а распахнуто. В каждый момент, говоря о том или другом явлении, поэт должен все сердце, всего себя отдать выражению того, что он хочет выразить. Полуправда ведет к полуискусству. Досказанность, точнее, полная высказанность — неотъемлемые качества подлинной лирики.

Вот за эти качества я люблю лирику Ираклия Абашидзе, лирику Грузии. В лучших созданиях своих поэтов она ничего не прячет, ничего не забывает. И в сугубо-лирических «интимно»-исповеднических стихах, и в лирической публицистике на международные темы И. Абашидзе одинаково откровенен. Недавно я прочитал его стихотворение «Хвала Востоку». По-разному можно лирически передать эту важнейшую тему — пробудившегося, освобождающегося Востока. У И. Абашидзе эта тема поет одним дыханием, сливая прошлое и настоящее, биогра-





Откажемся ль любить лишь потому,  
Что и до нас любили все на свете?

Давайте петь, пока поется стих,—  
Иначе мир покажется нам тесен.  
Лишь оттого, что пели и до нас  
Ужели мы откажемся от песен?..

Спасибо Григолу Абашидзе за  
эти строки!

Молодежь не откажется от песен.

Встречаем мы с открытым сердцем

дня...

\* \* \*

Гете сказал когда-то: «Чтобы узнать поэта, надо посетить страну его поэзии». Как и многие другие справедливые афоризмы, этот тоже не теряет справедливости, если его «перевернуть». Разве не верно будет сказать так: «Чтобы узнать страну, следует узнать ее поэзию?»

Знакомство с Грузией, любовь к Грузии начались для меня со знакомства с ее поэзией, которую нельзя не полюбить. Она точно и сильно раскрывает перед читателем красоту и своеобразие грузинского национального характера, в котором, как и в другом любом национальном характере, конечно, больше того человеческого общего, объединяющего, что и делает возможным взаимопонимание народов. «Речи» советских народов поистине «едины по смыслу», что ни в коей мере не умаляет и не нивелирует их своеобразия, но дает ту общую идейную основу, на которой происходит развитие и взаимообогащение социалистических наций.

Какие же черты национального грузинского характера, донесенные до моего читательского сознания грузинской литературой, поэзией, стали для меня близкими, привлекательными, обогатили, смею думать, мое мироощущение?

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, необходимо заранее, во избежание недоразумений, оговориться: назвать какое-либо психологическое качество характера присущим одному народу вовсе не означает отнять его у другого. Нет, например, народов смелых или несмелых, веселых или невеселых: у каждого — своя смелость и свое чувство юмора. Свообразие же очень часто проявляется в оригинальной «краске», «оттенке», «нюансе» той или иной

психологической особенности или сочетания их.

Мне страшно нравится оригинальное для грузинского национального характера (а потому и для грузинской поэзии, грузинской лирики) соединение изящества и страстности. Именно такой я воспринимаю поэзию Грузии, вижу в этом ее, из плоти и крови характера ее творцов возникающее, «преимущество» (что, разумеется, нисколько не умаляет поэзий других народов, потому что у них в свою очередь есть нечто такое, что отличает и в каком-то отношении делает их сильнее, нежели поэзия Грузии). Думаю, что органичность этой изящной страстности, темпераментности грузинской лирики не отгораживает ее от иного поэтического опыта; наоборот, грузинская поэзия должна учиться вбирать в себя достижения литератур иного национально-психологического «рисунка», так же, как и они должны быть столь же внутренне свободными, не скованными своей «органикой», чтобы поучиться и у грузин.

Возможно, что мое восприятие грузинского национального характера весьма субъективно, и кто-то другой «увидит» его не так. Но я ведь пишу не диссертацию и не психологическое исследование. В данном случае я не стремлюсь системой развернутых аргументов убедить всех в том, что я прав; я пытаюсь выразить в словах свое ощущение от встреч, бесед, чтения грузинской поэзии — и все это под углом зрения несколько своеобразно-личного, «импрессионистического» (о чем я заранее оговорился) вопроса: что такое для меня грузинский национальный характер. Есть, видимо, что-то такое, что не позволяет мне сказать об изящной страстности русской, украинской, или, скажем, французской лирики, хотя читатель может быть уверен, что и та, и другая, и третья для меня, русского читателя, также душевно, психологически близки, а в каких-то своих чертах и ближе, чем грузинская. Но вот эта черта грузинской поэзии, эта, разрешите считать, особенность ее — изящная страстность — мне чрезвычайно дорога, волнует и восхищает.

Как часто у всех грузинских поэтов мы встречаем слова о «горе-

нии», «лавине», «страсти», о внутреннем огне поэтического вдохновения. И это для меня не просто красивые слова, красивая «оболочка», — в этой лексике для меня приоткрывается темпераментная национально-психологическая «расцветка» грузинского образа мышления и чувствования, а не только способа словесного выражения мысли и чувства. В этом водопаде кричащих вопросов и восклицаний, в этом ливне крупных, смелых, резких до «боли в глазах» образов, мне видится особенность грузинского поэтического мироощущения, не богом данного, конечно, не какой-то биологической неповторимостью грузинского «духа» или грузинской «крови» (кровь у всех одинакова) обусловленного, а данного и обусловленного историческим опытом этого народа, условиями его бытия. В весеннем кипении музыки Леонидзе, в обвальном грохоте стихов Тициана Табидзе вы не найдете того огромного размаха чувств, которое так свойственно, например, русскому национальному поэтическому гению, — но зато сколь интенсивные чувства в грузинской лирике! Это — поистине кипящая поэзия.

Молодые поэты Грузии подхватывают (на ином лирическом материале, выражая иной социальный человеческий опыт) эту своеобразную национальную линию психологически-напряженной лирики. Сколько огня и темперамента в стихотворении Ш. Нишнианидзе «Бродячие сапоги» — сравните его с похожими по теме стихами о памяти войны, принадлежащими Луконину, Межирову, Ваншенкину, сравните, и вы увидите, что «речи», «единые по смыслу», имеют своеобразный национально-психологический колорит. Мне уже пришлось писать об огромном поэтическом темпераменте молодой поэтессы Медеи Кахидзе. Приведу сейчас только несколько ее строчек, не комментируя их, веря в то, что стихи лучше всяких рассуждений о них говорят сами за себя. Строки Кахидзе — о вечной теме любви, об ожидании свидания, о желании прервать, прекратить разлуку:

Как медлят дни! Как длятся ненавистные!  
Как мчатся сны за горную гряду!  
Ты слышишь, милый?..

Я оденусь листьями —

Лесной царицей я к тебе приду!  
Приду, как весть, как жаворонки

Скажу: «Весна»,  
и ты откроешь дом.

Друг друга нам не сжечь

на расстоянии —

Давай теперь всегда бродить вдвоем!  
Ты только жди... Я ринусь переправами,  
Пускай потоки пенятся рыча,  
Я доберусь... Там весен щедры правила,  
И вся в цвету малютка-алыча.

В реальной жизни редко случается, идя на свидание, прыгать через пропасть и продираться сквозь лес, но право поэта превратить разделяющую влюбленных улицу в гремящий, опасный поток!

И недаром, вероятно, такое развитие получил в грузинской поэзии жанр баллады, впечатляющие образцы которой дали и А. Гомиашвили, и Р. Маргиани, и О. Челидзе, — жанр, где страстность, взволнованность интонации обязательны для рассказывающего. Недаром вот уже сколько десятилетий мчится, разнообразясь, в грузинской поэзии мощный, неудержимо темпераментный Мерани! Ни в русской, ни в украинской, ни в литовской поэзии нет такого, пережившего века, образа-символа.

Впрочем, мне справедливо заметят, что не все грузинские поэты пишут так, как Леонидзе, Галактион и Тициан Табидзе, или из молодых (я не сравниваю величину таланта имен, названных в этом перечне!) — Медея Кахидзе. Да, есть грузинские поэты гораздо более «спокойные». Они логичнее, проще, часто — яснее в своей образности, но им тоже, по-моему, присуща внутренняя страстность стиха, напряженность психологического содержания. Леонидзе своеобразен как поэт. На него (между собой) непохожи Григол Абашидзе и Симон Чиковани. Но сколько подлинной страстности в стихотворении Симона Чиковани «Снег» — таком нежном и сдержанно-целомудренном; начав говорить о любимой, лирический герой этого продуманного, законченно «закругленного» (как и все лучшее, написанное Чиковани) стихотворения словно не в силах перестать говорить, не в силах остановиться. Слова его спокойны, но дыхание возбуждено:

Как я мечтал — пушинку снеговую  
Внести в твой дом, чтоб видела и ты  
Во всей красе игру ее живую,  
Холодный свет и трепет чистоты.

Хотелось мне, чтобы она, не тая,  
Перед тобой сияла в доме, как  
Январского простора мысль простая  
Или как проседь на моих висках.

Хотелось мне сказать, что эта стужа,  
Что эта снеговая чистота  
В мои виски вплетается все туже.  
Но боль любви по сердцу разлита.

Но от прикосновения ладони  
Снег исчезает, словно от огня...  
И я ни с чем пришел к тебе на склоне  
Январского завьюженного дня...

Даже там, где грузинский поэт —  
в соответствующих интонациях и  
красках — стремится передать «по-  
кой», он обязательно, как это сде-  
лал Мухран Мачавариани, провидит  
скрытую в этом покое бурю; темпера-  
мент скован, но не исчез:

Солнце  
Куда ни глянешь,  
Оно затопило село.  
Полдень.  
Ни скрипа изгороди, ни ветки качанья...  
Лишь сонная птица испуганно вскинет  
крыло.

И снова:  
полдень,  
зной,  
тишина,  
молчание.

Склоны замерли.  
Лес стоит недвижим.  
Ветер повис бессильно...  
Но снова и снова  
Все  
словно молит нелегким молчаньем  
своим:

— О человек!  
Говори!.. Хоть единое слово!

Итак, поэтический огонь, пылкий  
жар стиха — это для грузинской ли-  
рики не просто метафорическое *fa-  
çon du parler*, это ее националь-  
но-психологическая особенность, при-  
влекательная и сама по себе и тем,  
что она проявляется у разных поэтов  
по-разному, по-своему: значит, она  
достаточно богата по диапазону, что-  
бы не обречь поэтов на скучную  
схожесть.

Разумеется, в грузинской лирике  
есть и много стихов ложно-звучных  
и бесцветно-приглушенных, стихов  
слабых и неудачных; но в лучшем,  
что создано грузинской советской  
поэзией (а по этому лучшему и сле-

дует судить о сильных сторонах по-  
этического мышления каждого на-  
рода), всегда есть то, о чем хорошо  
сказано у Алио Мирцхулава:

Рассаду букв всегда храню от стужи:  
Как борозду, веду строку свою.  
Потом вдохну словам незрячим душу,  
Горячей кровью книге их привью...

Пучины зноя. И пучины света.  
Под нашей кистью — краски без числа.  
И мы сгораем оба — я и лето —  
В огне искусства, а не ремесла...

Опять-таки: «сгораем в огне!»

\* \* \*

А теперь, продолжая, поговорим  
об изяществе и кое о чем другом.

Изящество бывает наигранным,  
специально отрететированным (та-  
ким оно бывает, к сожалению, и в  
поэзии, в грузинской тоже). Но есть  
люди естественного изящества — они  
держатся свободно, без всякой ско-  
ванности, позерства, но эта — ска-  
жем так — «свобода жеста» ограни-  
чивает сама себя тонким чувством  
меры, перейдя которую человек ста-  
новится претенциозно, нарочито  
«красив» (что следовало бы понять  
некоторым модникам с улицы Горь-  
кого или проспекта Руставели).

В поэзии то же, как и в жизни.  
Счастлирое качество грузинской  
поэзии — этот вот «врожденный»  
такт, умение не «переборщить» в  
выражении своего бурного темпера-  
мента. Мне кажется, что ранее при-  
веденные цитаты вполне убеждают  
в этом. А если говорить о традициях  
такого рода поэтического изящества,  
то вспомним, прежде всего, «Витязя  
в тигровой шкуре». Какие страсти  
терзают души героев Руставели —  
но вы никогда не увидите здесь «пе-  
ребора»; все бурное — слезы, ры-  
дания, беспомощность битвы — стоит  
перед вашими глазами законченно-  
скульптурно, благородно, изящно.

Как по-грузински темпераментно,  
интенсивно это изящно глубокое по  
мысли стихотворение Григола Аба-  
шидзе:

Мир охвати умом и чувством,  
Как ни велик его объем.  
Качающийся мост — искусство,  
Поэзия — игра с огнем.

И если страшно оступиться,  
Стой, затаив и вздох и речь.  
Не бойся весь испепелиться,  
Страшись крыло полуобжечь.

И, ясное храня прозренье,  
Лети сквозь годы и века  
Свободен, прост, как дуновенье  
Гуляющего ветерка.

Мир охвати умом и чувством —  
И назовут тебя орлом.  
О беззаветный путь искусства,  
Игра с успехом и огнем.

Охватим же умом и чувством весь  
мир, не теряя при этом своего «яс-  
ного прозренья»!

\* \* \*

Уважение и любовь к своему на-  
роду и к лучшим своим традициям  
не означает умаления достоинств  
другого народа. Русские и грузины  
гордятся прежде всего тем, что они  
советские русские и советские грузи-  
ны. Мы гордимся тем, что Россия,  
Украина, Грузия, Армения, все на-  
роды нашей страны и прежде внес-  
ли свой немалый вклад в прогресс  
человеческого общества, а теперь,  
будучи социалистическими нация-  
ми, строя коммунизм, — идут в аван-  
гарде социальной и культурной ис-  
тории современности.

Вырабатываются общие прекрас-  
ные советские традиции; отбрасыва-  
ются прочь, исчезают в ходе жизни  
привычки прошлого и среди них та-  
кая мерзкая и прилипчивая, как «на-  
циональная замкнутость». «местниче-  
ская ограниченность».

Общей традицией советской ли-  
тературы стала прекрасная творче-  
ская любознательность, душевная  
восприимчивость наших народов  
друг к другу, к трудящимся всего  
мира. Это проявление интернацио-  
нальной сущности советской литера-  
туры, это — одновременно — и раз-  
витие на новой, высшей, основе са-  
мых благородных традиций своего  
прошлого.

Лучшие умы России в тяжкое  
время царизма сочувствовали стра-  
даниям и старались облегчить стра-  
дания Украины, Армении, Польши,  
народов Средней Азии: лучшие лю-  
ди России любили Грузию и помога-  
ли ей. Когда-то в XIX веке возникло  
в грузинском языке новое слово  
«тергдалеули», «испивший воды Те-  
река», т. е. человек, связавший Гру-  
зию и Россию. Одни, лучшие люди  
Грузии, произносили его с гордо-

стью, другие — со скрежетом зубо-  
вым, видя в нем синоним слова  
«отступник».

Как же расцвели теперь, в новых  
условиях жизни, дружба и братство  
народов — уже не только их пере-  
довых представителей, но именно  
народов, сплоченных одной великой  
целью, освобожденных от социаль-  
ного гнета ветром одной и той же  
октябрьской бури!

Дружба и братство вдохновляют  
грузинских поэтов на прекрасные  
стихи о России, Украине, Армении,  
Казахстане и т. д. Да и до сих пор  
сердце грузинской поэзии бьется  
самым пламенным волнением, когда  
в него входят долины Кахетии, нивы  
Шираки, огни Тбилиси и Рустави,  
черное золото Ткибули, имеретин-  
ские туманы, громады Кавкасион,  
пенье бесчисленных горных рек. Но  
все это существует теперь не как  
отдельно взятое, не само по себе.  
«В нас единой отчизны дыханье», —  
сказал Тициан Табидзе, словно соз-  
нательно перекликаясь с известной  
поэтической «формулой» Павла Ты-  
чины — «чувство семьи единой».

И, что еще более важно, — гру-  
зинские поэты пишут не только «о»  
других республиках, но и для них,  
для всех нас, советских людей, впе-  
тая свой узор в «общую лирики  
ленту» многонациональной и еди-  
ной советской литературы.

Разве образ-символ только гру-  
зинского, а не всего советского на-  
рода запечатлел Галактион Табидзе  
в своем стихотворении «Возвращение  
в Сванетию»?

По-прежнему строго  
Хранила красу высота,  
Но в гору дорога  
Вилась, как нарезка винта.

И чувство рассвета  
Окрепло в краю молодом,  
Ветрами воспето,  
Согрето разумным трудом.

И с болью старинной  
В горах распростился навек  
Могучей стремниной  
Влекомый к заре человек...

Я читаю такие стихи — и благо-  
дарю поэтов, сумевших написать их.

Я не пропущу теперь ни одной  
книги грузинских поэтов, потому  
что это — **МОЯ** поэзия.



*Вл. Мачавариани*

## Повесть о солдатах наших дней

Повесть Эммануила Фейгина «Солдат, сын солдата», напечатанная в прошлом году в журнале «Молодая гвардия», нашла в нашей печати положительный отклик. О ней написал Виталий Закруткин в «Литературной газете», рецензии о повести были опубликованы в «Красной звезде», в «Ленинском знамени». Повесть обсуждают в воинских частях и подразделениях, в заводских коллективах.

О нашей армии, о ее боевых делах, о командирах и солдатах — людях легендарной славы, написано немало. Литература о Советской армии, если ее собрать воедино, составит большую библиотеку. Книжки эти — разного качества, ибо написаны они людьми неодинаковых литературных возможностей, неодинаковых талантов. Но в целом литература эта представила нашу армию ярко и правдиво.

Может быть, это звучит несколько парадоксально, но писать о действующей армии легче, чем писать о ее буднях. Война, поле боя — вот та стихия, где в первую очередь и проявляет себя армия, ее военачальники, ее рядовые бойцы.

Намного труднее писать о буднях армии, когда она занята «простым», «мирным» делом освоения новой техники, воспитания молодых кадров, их воли, их способностей. Ведь как ни трудны армейские учения, это, в конечном счете, — имитация боевых дел. Вероятно поэтому так мало пишут об армии мирного времени, мало пишут не только у нас, но и во всей мировой литературе.

Э. Фейгин не испугался этой будничности, прозы мирной армейской жизни и увидел в ней суровую поэзию сложных человеческих отношений, необычных коллизий, которые рождаются жизнью и в этой же армейской жизни находят свое решение.

Герои книги — это молодые люди, духовно возмужавшие после Великой Отечественной войны — лейтенант Геннадий Громов, солдаты Сергей Бражников, Шакир Муртазов, Вася Катанчик, Саша Сафонов, Геворк Казанджян, Андрей Микешин, Вахтанг Кереселидзе. Э. Фейгин рисует их с уже сложившимися характерами, с определившимися душевными свойствами, склонностями. Они пришли в армию по долгу службы. Для всех этих милых, хороших, добрых советских ребят армия — большая школа жизни, но все, наверно, кроме лейтенанта Громова, сына и внука генерала, отслужив свой срок, уйдут «на гражданку».

Писатель рассказывает больше о том, какие психологические коллизии образуются в результате встречи характеров разных людей, как проявляются их человеческие свойства в условиях мирной армейской жизни — жизни суровой, так как и армейские будни, и учения в пограничной горной местности требуют от солдат и командиров большой выдержки, напряжения воли.

Кто же такие эти молодые люди, какими рисует их Э. Фейгин? Я не берусь во всех подробностях разбирать достоинства и недостатки геро-

ев повести. Хотелось бы сказать несколько слов о лейтенанте Громе-ве, пожалуй, полнее всех, крупным планом выписанном автором. Громов — потомственный офицер, выросший в офицерской семье, воспитанный в военных учебных заведениях. У Громова беспредельно развито чувство воинского долга, дисциплины, ему присуща та подтянутость, которая, по его представлениям, является неотъемлемым качеством офицера. Все задания командования Громов выполняет отлично, но он не освоил пока одной самой большой премудрости жизни — умения понимать людей. Хорош тот командир, под начальством которого легко служить, чьи самые тяжелые, самые трудные задания легко выполнять. С Громовым это не так. Он далек от своих солдат, даже черств с ними.

Откуда это у молодого советского офицера? Мне кажется, Э. Фейгин не дает ответа на этот вопрос. Предполагать, как это делают некоторые критики повести, что он заурядный эгоист, самовлюбленный Нарцисс, было бы неправильно. Хорош Нарцисс, для которого высшая цель жизни — стать подлинным, боевым советским офицером. Лейтенант Громов, не колеблясь ни одного мгновения, отдаст жизнь Родине, народу. Вряд ли совместимо все это с понятием эгоиста, честолюбца.

Громов не совсем еще разобрался в жизни, ему еще многое предстоит испытать. У Э. Фейгина этот характер очень интересно намечен, правильно очерчены его контуры, но, к сожалению, не все договорено до конца.

В подразделении вместе с лейтенантом Громовым служит старшина Григорий Иванович Петров, знавший деда Громова — бывшего партизана, ныне генерала в отставке. Петров пишет письмо старому генералу, просит его обратить внимание на внука. Генерал приезжает в подразделение, где служит лейтенант Громов, хочет поговорить с ним и со старшиной, но старшина, внезапно скончался. Дед и внук вместе посещают могилу Петрова, и здесь на молодого Громова находит вдруг просветление. Но это «исцеление»

от налета эгоизма и честолюбия наступает очень уж стремительно.

Всеми качествами положительного, даже «идеального» героя выделен рядовой Сергей Бражников. Но этот двадцатилетний парень органически «идеален», жизненно правдив, он от природы положительный человек. Сергей умен, отзывчив, правдив и справедлив. Жизнь многому научила молодого проходчика. Он принес в армию смекалку шахтера, пролетарское чутье. Вот почему к нему тянутся все — и несколько инфантильный, изнеженный Саша Сафонов, и грубоватый Андрей Микешин, и по-южному темпераментные и веселые Шакир Муртазов и Геворк Казанджян, и Геннадий Громов, и беспокойный, издерганный Вася Катанчик. Он настоящий комсомольский вожак. Образ Сергея Бражникова — большая удача автора. Не часто бывает, что награжденный всеми положительными качествами литературный герой оказывается столь естественным и правдивым во всех проявлениях своего характера и в своих действиях.

В подразделении собрались дети многих народов. Все они живут дружно, большой, крепко спаянной семьей. Эта интернациональная спаянность, единство, органичное для нашей армии, очень тонко, правдиво передано Э. Фейгиным.

В теплых лирических тонах рисует Э. Фейгин единство армии и народа. Не могу не напомнить читателю один эпизод.

Сергей Бражников по заданию командования направляется в штаб части. Горной дорогой он проходит мимо прижатых к земле тяжелых темно-серых, похожих на обломки выветренных скал, домов. Из одного такого дома выходит горбоносый старик в мохнатой чабанской шапке, в накинутой на плечи овчинной шубе. Сергей просит у старика воды.

«— Нет, — нахмурившись, сказал старик, — воды я тебе не дам.

Сергей пожал плечами.

— Воля ваша, отец.

— Нет, не моя воля, — возразил старик. — У нас в Грузии обычай такой: гостю вино подносят, а не воду.

— А вы разве грузин? — спросил Сергей.

— Армянин. Но что из этого? Я всю жизнь на грузинской земле, и грузинский обычай — мой обычай. Заходи в дом, Сергей. Выпьешь стаканчик молодого вина, мачари, надолго жажду утолишь».

У нас иногда раздаются голоса, правда, робкие, что будничная жизнь не способствует созданию большой литературы высокого романтического накала, что советская литература достигла своих высот, когда писала о великих порывах дней Революции, эпохе гражданской войны, о героических делах первых пятилеток, о Великой Отечественной войне — времени всеобъемлющего испытания духа, воли, интеллекта советского человека. А теперь, мол, другая эпоха и, стало быть, другая литература.

Нужно ли опровергать эти переисуды? Ведь дела нашего времени не измеряются ни днями, ни месяцами, ни годами, ни даже десятилетиями. Эпоха великих свершений продолжается и качественно ее характер не менялся и не может измениться.

Внутренний мир нового человека все еще находится в процессе становления. Отживает старое, иногда с трудом, с рецидивами, формируются новые стороны, новые грани, новые аспекты характера этого человека. Советский молодой человек хочет жить полной жизнью, жизнью, духовно богатой, всесторонне инте-

ресной и многогранной. Для него характерна самоотверженность не только во имя будущего идеала, величия будущих дней, но и самоотверженность во имя благ сегодняшнего дня.

Сейчас у нас живут внуки Павки Корчагина, подрастают дети героев Молодой гвардии. И наша литература, наше искусство должны им показать, что современность полна романтизма, и новые задачи, которые встали перед нами, требуют большой внутренней мобилизованности, сосредоточенности, твердой воли, целеустремленности.

Геннадью Громову и его сверстникам нужны учителя большой культуры. Старшина Петров, несмотря на исключительное его обаяние, жизненный опыт, революционные заслуги, в лучшем случае вызовет не только у Геннадия Громова, но даже в Сереже Бражникове лишь умиление, сочувствие. Как ни старался Э. Фейгин сделать из Петрова и старого генерала Громова учителей жизни нового поколения советских воинов, эти образы, несмотря на кажущийся их лиризм и правдивость, по существу риторичны, суховаты, дидактичны.

Наша литература еще в долгу перед новым поколением, но нужно думать, она очень скоро оплатит этот счет. Новая повесть Э. Фейгина вносит свою лепту в счет оплаты этого долга.



**Б. Бахтадзе**

## Очерки о писателях-демократах

Крупнейший грузинский поэт-романтик Николоз Бараташвили в своих «Раздумьях на берегу Куры», говоря о назначении человека, гражданина, поэта, обращается к современникам и потомкам со своего рода заветом — жить для общества, для народа, радеть о благе родной страны.

Эту же цель ставили перед собой все выдающиеся представители грузинского критического реализма минувшего столетия, в том числе Николомоури, Екатерина Габашвили и Иродион Эвдошвили, жизни и творчеству которых посвящены «Литературные очерки» Еремиа Карелишвили — результат многолетней работы критика над изучением грузинской литературы. Собственно, это даже не литературные очерки, а цикл монографий о жизни и творчестве трех писателей.

Писатели-народники Н. Ломоури и Ек. Габашвили сочетали литературный труд с напряженной общественно-педагогической деятельностью. Творчество их объединяет протест против произвола царизма, критика социальной несправедливости, верность принципам критического реализма в изображении действительности и, вместе с тем, утопизм мировоззрения. Ир. Эвдошвили роднит с ними реализм и гражданственность творчества, звучание в его произведениях мотивов, характерных для писателей-народников, а также неослабный интерес к детской литературе, к одному из важнейших, по их убеждению, средств воздействия на

формирование и воспитание молодого поколения.

Знакомя читателей с биографиями этих писателей, Е. Карелишвили привлекает мемуары и различные документы, характеризующие эпоху, тексты самих художественных произведений.

В очерках о Н. Ломоури и Ек. Габашвили большое внимание уделяется педагогическим взглядам Якова Гогешашвили и национально-политической программе Ильи Чавчавадзе. Это органическая часть книги, ибо грузинские писатели-народники испытали огромное влияние этих мыслителей, что нашло своеобразное отражение в их творчестве.

Е. Карелишвили рассматривает творчество грузинских писателей-народников на фоне социально-политической жизни Грузии XIX века. Социальный вопрос, как известно, был неразрывно связан здесь с национальным. Это обстоятельство обусловило отличие Н. Ломоури и, особенно, Ек. Габашвили, от русских народников, определило характер их творчества и мировоззрения, их связь с прогрессивным крылом лагеря «тергдалеули».

Все эти вопросы автор книги освещает с точки зрения марксистско-ленинской методологии, исходя из ленинской оценки идеологии революционных демократов и народничества.

Показывая ограниченность реализма беллетристов-народников, которые не могли разобраться в объек-

тивных закономерностях социального развития, Е. Карелишвили подчеркивает, что созданные Н. Ломоури и Ек. Габашвили картины современной им действительности пробуждали в народе «дух борьбы против буржуазно-помещичьего строя и старых, отживших жизненных традиций... объективно способствовали накоплению той взрывной силы, которая должна была подорвать старый мир».

На основе идейно-художественного анализа произведений Н. Ломоури и Ек. Габашвили исследователь раскрывает основные мотивы их творчества: гуманизм, любовь к простому человеку, осуждение морали и быта господствующих классов, защита интересов крестьянства.

Разбирая такие произведения Н. Ломоури, как «Русалка», «Каджана», «Удел несчастливцев», «Со всех сторон», «Гиго Грубелашвили», Е. Карелишвили дает четкую характеристику морально-этической позиции писателя.

С особенной любовью пишет Е. Карелишвили о Ек. Габашвили. Правда, он несколько наивно называет ее «грузинским Мопассаном», но в целом правильно освещает ее творчество.

Содержательна глава «Утопические иллюзии», где, анализируя рассказы Н. Ломоури и Ек. Габашвили, Е. Карелишвили выявляет причины крушения просветительских идеалов грузинских народников. Очень интересно здесь сравнение идейного содержания произведений Н. Ломоури и Ек. Габашвили со снами Веры Павловны из романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?».

Последняя глава книги Е. Карели-

швили посвящена жизни и творчеству Ир. Эвдошвили, автора поэмы «Рабочий и муза», а также одного из любимых произведений В. Маяковского, знаменитой «Песни», которая в бурные дни революции 1905 года сыграла роль своего рода грузинской «Марсельезы».

Поэт-гражданин Ир. Эвдошвили стоит в преддверии грузинской советской литературы. Однако исследователь объявляет его одним из зачинателей грузинской литературы социалистического реализма, что представляется нам не только спорным, но и неверным. В основном же Е. Карелишвили дает правильную характеристику сложного и противоречивого пути этого писателя, подчеркивая гражданский пафос и гуманизм лучших его произведений. Одновременно он раскрывает природу идейных колебаний, литературных и политических ошибок Ир. Эвдошвили, вызванных отходом поэта после поражения революции 1905 г. от позиций революционного пролетариата, а также его сближением с кругами грузинской буржуазно-националистической интеллигенции, за псевдо-патриотической фразеологией которой скрывался страх перед революционно-освободительным движением рабочего класса.

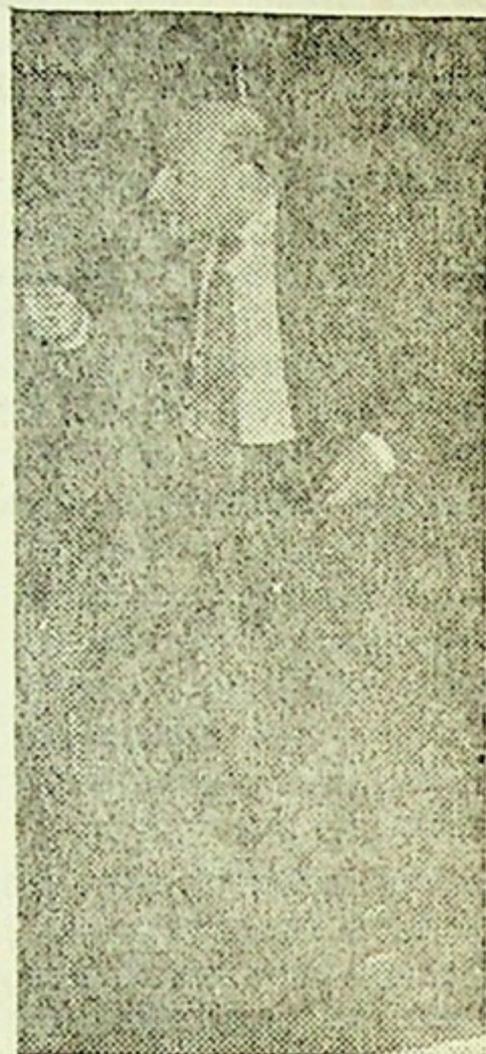
Во всех трех монографиях Е. Карелишвили сначала излагает биографии писателей, а потом анализирует их творчество, и это придает книге некоторое однообразие. В целом же «Литературные очерки» Е. Карелишвили, в живой, доступной форме освещающие страницы грузинской демократической литературы, интересны как по своей проблематике, так и связью рассматриваемых вопросов с современностью.



*Н. Шалуташвили*

Режиссер

Димитрий Алексидзе



Разные пути приводят художника в искусство. Один из наиболее счастливых выпал на долю Димитрия Александровича Алексидзе. Отец его — известный врач — был горячим поклонником театра, мать — видная грузинская поэтесса Мариджан, одна сестра — балерина, другая — скульптор. Вся семья жила интересами литературы и искусства. Поэты, художники, актеры, композиторы были частыми гостями в доме Алексидзе.

Любительские семейные спектакли, которые устраивали взрослые, вызывали у мальчика желание попробовать и свои силы, и он написал, а затем сыграл с сестрой и няней свою первую пьесу для единственных зрителей — бабушки и дедушки.

Затем школьные спектакли, постановка «Разлома» Б. Лавренева в 1-й показательной школе. И наконец один из решающих моментов в биографии будущего режиссера — присутствие на балетном спектакле студии известной преподавательницы —

хореографа М. И. Перини, в котором были заняты такие мастера нашей сцены, как С. Вирсаладзе (ныне известный художник), Т. Чабукиани, Е. Чикваидзе, Л. Гварамадзе и другие.

Балет увлек мальчика, и он несколько лет с увлечением занимался танцем (в дальнейшем в его профессии режиссера это сыграло большую роль — определило своеобразную графичность, скульптурность мизансцен, сделало спектакли Д. Алексидзе необычайно пластичными).

Но с годами родилась новая мечта — самому создавать спектакли, войти еще полнее в сложный, захватывающий театральный мир, иметь в нем более широкое поле деятельности, Д. Алексидзе поступил на режиссерский факультет Московского государственного театрального института имени Луначарского. Здесь он работал под руководством выдающихся режиссеров и педагогов — И. А. Судакова, Б. М. Сушкевича, И. М. Раевского и других.

Уже в студенческие годы Д. Алексидзе проявил себя энергичным, пытливым юношей. Будучи студентом третьего курса, он поставил в московском китайском театре рабочей молодежи пятиактную пьесу Эми Сяо «Ленин» на китайском языке.

Затем в сотрудничестве с Ф. Н. Кавериним осуществил в московском новом театре (бывшая студия Малого театра) постановку пьесы Смолича «По ту сторону сердца». Но все это были еще первые робкие шаги. Подлинный успех молодому режиссеру принес дипломный спектакль — «Бойцы» Б. Ромашова, осуществленный на сцене Тбилисского театра Красной Армии в 1935 году. Молодого режиссера заслуженно хвалили члены экзаменационной комиссии, такие строгие и непреклонные судьи, как С. Ахметели, Вс. Мейерхольд, Р. Симонов.

Газета «Правда», отмечая в передовой статье успех выпускников ГИТИСа, писала: «Среди окончивших институт особенно выделяется тов. Алексидзе, блестяще защитивший свой план постановки пьесы Б. Ромашова «Бойцы», которую он осуществил на сцене театра Красной Армии в Тифлисе».

Быстро завоевав популярность у зрителя, молодой режиссер с увлечением начал работать педагогом в студии при театре имени Руставели. Уже в 1936 году он показал на его сцене свой спектакль «Хозяйка гостиницы», сыгранный учащимися аджарской секции. Умение работать с актером, живой, яркий юмор, красочная форма этой постановки определили ее успех.

С 1936 года Д. Алексидзе переходит в театр имени Руставели, художественным руководителем которого теперь является.

Воспитанный на лучших достижениях русской театральной культуры, он, вместе с тем, глубоко воспринял классические традиции грузинского героико-романтического театра, традиции К. Марджанишвили и С. Ахметели.

Художник большого, многогранного таланта, страстно, до самозабвения любящий театр, он в течение четверти века своей творческой жизни создал ряд высокоталантливых спектаклей, явившихся этапными для театра имени Руставели.

Конечно, не всегда гладок путь в искусстве. В каждую новую постановку Алексидзе бросается словно в битву. Наряду с большими победами, у него случаются и неудачи. Но неотомимого художника они не могут лишить энергии. Он собирает силы и снова идет на приступ и побеждает.

Д. Алексидзе — художник, идущий от жизни. Его творчество многообразно. Для него все жанры хороши, если в них есть большие страсти, конфликты, облагораживающая человека вера в жизнь, в светлое начало. Поэтому он с одинаковым увлечением ставит комедии, социальные, и психологические драмы, высокую трагедию.

Но первый успех принесли ему все же комедии. Поставленные в красочной театральной форме, брызжущие смехом спектакли «Хозяйка гостиницы», «Дура для других, умная для себя», «Слуга двух господ», «Невеста из афиши», «На всякого мудреца довольно простоты» сделали имя Д. Алексидзе широко известным. Он стал признанным мастером — постановщиком комедии. Но по мере того, как приходила к нему творческая зрелость, его начинали волновать все новые и новые проблемы, связанные с важнейшими этапами в жизни нашего народа. Так родились проникнутые острой ненавистью к фашизму «Альказар» и «Профессор Мамлок», обличающие звериную сущность расизма «Глубокие корни» и «Голос Америки», насыщенные большим социальным звучанием «Васса Железнова», «Первый шаг» и др.

Патриотические спектакли «Герои Крцаниси», «Батальон идет на Запад», «Родина», «За тех, кто в море!» были проникнуты огромной силой любви к Родине, к советскому человеку.

В каждый из этих спектаклей Д. Алексидзе вкладывал весь свой талант, весь страстный пафос художника-гражданина.

В послевоенные годы режиссера увлекли новые темы, новые, глубоко философские раздумья о человеке, о «судьбе человеческой, судьбе народной». Так родились большие эпические полотна — «Борис Годунов», «Гамлет», «Царь Эдип», «Бахтриони».

В этих спектаклях Д. Алексидзе

предстал перед зрителем как художник большого масштаба. И пусть не все эти постановки равнозначны, не все в них одинаково полноценно, но через «Бориса Годунова» и «Гамлета» он пришел к таким блестящим творческим победам, как «Царь Эдип» и «Бахтриони».

Еще в 1943 году, разбирая спектакль «Герои Крцаниси», критик Б. Жгенти справедливо отметил, что ошибаются те, кто сущность таланта Д. Алексидзе ограничивает жанром комедии. Уже тогда, в «Героях Крцаниси», глаз критика увидел зерно того, что развилось затем в спектаклях «Царь Эдип» и «Бахтриони». Б. Жгенти подчеркивал в режиссерском таланте Д. Алексидзе глубокое проникновение в эпоху, большую культуру мизансценирования, умную, эффектную композицию спектакля, эмоциональность, оживляющую даже драматургически слабые места пьесы.

Сейчас лучшие спектакли Д. Алексидзе пользуются огромным успехом и за пределами Грузии.

Как отмечает московская пресса,



«Царь Эдип» — это крупная веха в истории не только грузинского, но и всего советского театра. В этом спектакле режиссер Д. Алексидзе раскрыл не традиционную трагедию рока, а «трагедию человеческого мужества и ответственности».

В письме к Д. Алексидзе известный критик и драматург Н. Виноградов-Мамонт пишет: «Ваши постановки «Царь Эдип» и «Бахтриони» — подлинное, большое искусство. Вы награждены редким в настоящее время, уникальным талантом эпического художника. Глубокий замысел, монументальность формы, четкая передача главных, важнейших линий пьесы, блестящая партитура народных сцен, тонкое раскрытие лирических мотивов... все это Ваши свойства».

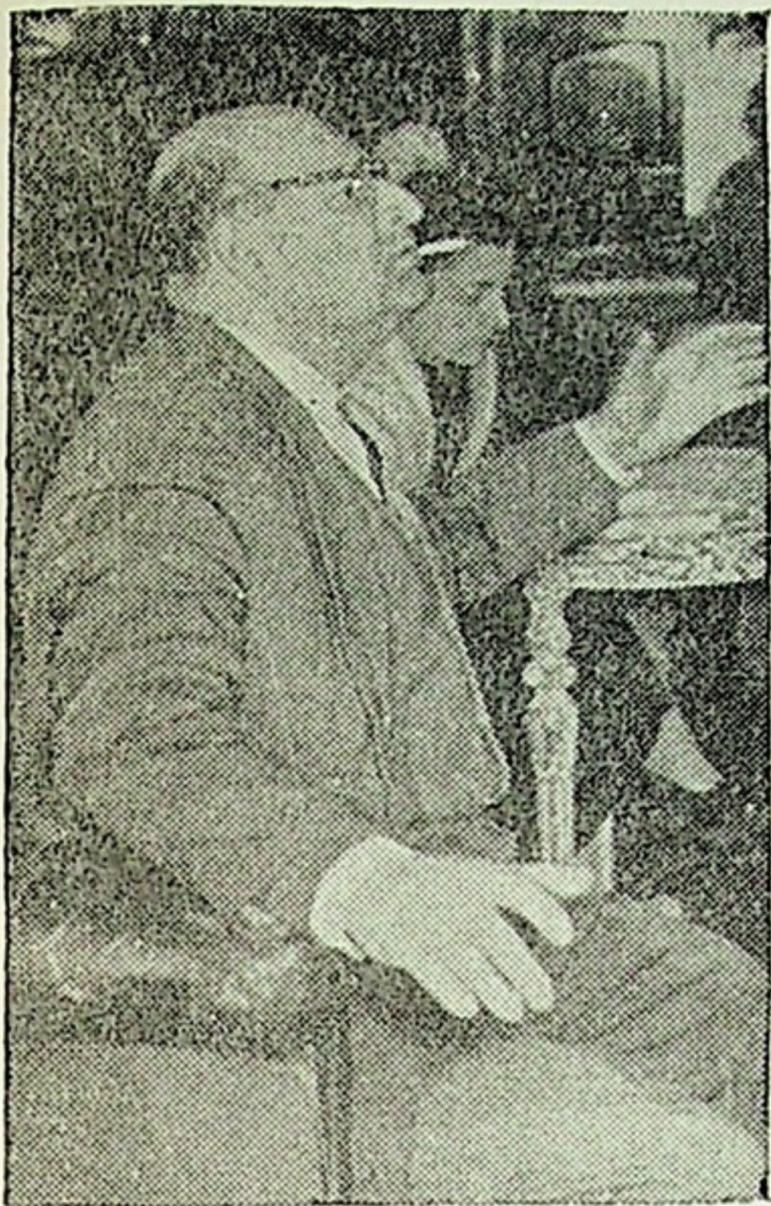
Можно привести еще много самых лестных и искренних отзывов о постановках Д. Алексидзе, высказанных во время недавних гастролей театра имени Руставели в Москве. Но постараемся лучше по возможности разобраться, в чем же «тайна» их успеха?

Как-то в беседе с Дмитрием Александровичем В. И. Немирович-Данченко сказал, что он различает две группы режиссеров — «режиссеров ставящих и режиссеров создающих». Д. Алексидзе, без сомнения, можно отнести ко второй группе, ибо каждый из создаваемых им спектаклей рождается в результате сложного творческого процесса.

Для Д. Алексидзе роль режиссера заключается в том, чтобы всех участников спектакля сделать своими единомышленниками, взволновать их темой, идеей произведения и вместе с ними «сочинить спектакль».

Д. Алексидзе — опытный педагог. И этот педагогический опыт всегда помогает ему в репетиционной работе. Дмитрий Александрович старается подсказать, а иногда и показать актеру его задачи, пробудить его чувство, зажечь его и самое важное — не подавлять творческую инициативу актера, а лишь направлять ее, передавая свое видение образа так, чтобы оно стало для него своим, органичным.

Д. Алексидзе глубоко проникся национальной природой грузинского искусства. В созданных им постановках чувствуется особая, «руставелев-



ская» традиция, в которой нет места мелкому штриху, скрупулезной психологической подробности, где все ярко, мощно, основано на больших страстях и чувствах человека.

Он глубоко верит в то, что искусство должно радовать людей, и поэтому так хорошо умеет каждое, даже самое трудное дело, превращать в увлекательный праздник. Свет оптимизма, вера в человека пронизывают его постановки. И не случайно В. И. Немирович-Данченко признавался, что при посещении занятий Д. Алексидзе с актерами на него повеяло «ароматом весны».

Богатая режиссерская изобретательность, великолепное владение музыкой и светом, искусство мизансценировки — все свидетельствует о прекрасном знании им специфики театра (вспомним замечательную мизансценировку в спектаклях «На всякого мудреца довольно простоты», «Царь Эдип» и «Бахтриони»).

Большое значение придает Д. Алексидзе театральности, форме спектакля, но нигде эта форма не довлеет над содержанием, всюду она органично связана с идеей произведения, замыслами автора пьесы.

Д. Алексидзе стремится сделать спектакли театра имени Руставели мужественными, романтическими, яркими и выразительными по форме, проникнутыми сильными чувствами и большими человеческими переживаниями. Он способствует воспитанию традиционного для театра синтетического актера и много работает с молодежью, смело выдвигая наиболее талантливых на самые ответственные роли.

В том, что на сцене театра имени Руставели такое значительное место занимает молодежь — воспитанники Тбилисского театрального института, в котором Дмитрий Александрович работает со дня его основания и многие годы руководит кафедрой актерского мастерства и режиссуры, — его немалая заслуга.

Автор ряда интересных работ по различным вопросам воспитания актера, Дмитрий Александрович и сейчас многое делает по разработке методики преподавания актерского мастерства на основе системы К. С. Станиславского.

Для художника-гражданина театр — не место «красивого развлечения», а арена служения народу. И Д. Алексидзе с глубокой верой в свой долг перед ним пишет в одной из своих статей: «Работники искусства должны оправдать веру партии и народа — воспитывать людей для коммунистического общества... Во главе этого движения должен стать театр. Он должен стать организатором и руководящей силой. Сегодня профиль режиссеров и актеров не уместится в тесной профессиональной раковине, они — общественные деятели, передовые люди, активные строители коммунистического общества, воспитатели, являющие пример...»

Редактор К. ЛОРДКИПАНИДЗЕ

Редакционная коллегия:

Э. АНАНИАШВИЛИ, М. ЗАВЕРИН (ответственный секретарь),  
М. ЗЛАТКИН, А. КУЗЬМИЧЕВ, А. КУТЕЛИЯ,  
В. МАЧАВАРИАНИ, Э. ФЕЙГИН, Д. ШЕНГЕЛАЯ.

---

Адрес редакции: Тбилиси, ул. Махарадзе, 14, тел. 3-87-88.

Подписано в печати 8 февраля 1961 г. 6 печ. листов

Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>.

Тираж 2.500

Заказ № 17

УД 04788

Цена 40 коп.

---

ჟურნალი „ლიტერატურნაია გრუზია“  
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის გამომცემლობა „ზარია ვოსტოკა“

---

Типография «Заря Востока» им. А. Ф. Мясникова издательства  
ЦК КП Грузии, Тбилиси, пр. Руставели, № 42.

18-19/12

Цена 40 к.

